

Кира Селезнева

БЫЛИ - НЕБЫЛИ

Кира Селезнева

БЫЛИ-
НЕБЫЛИ

Челябинск
ИзЛиТ
2016

Кира Селезнева

**БЫЛИ-
НЕБЫЛИ**

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
С 29

Оформление К. Сошинской

Селезнева, К.

С 29 Были - небыли: Эссе, рассказы / Кира Селезнева; худож. К. Сошинская. — Челябинск: ООО «Издательство «ИзЛиТ»», 2016. — 203, [5] с.

ISBN 978-5-906606-13-6

В очередной книге Киры Селезневой, адресованной узкому кругу читателей с широким диапазоном литературных интересов, представлено автобиографическое эссе на ярком историческом фоне советской эпохи, а также впервые собраны некоторые рассказы разных лет — от почти реалистических до сугубо фантастических.

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-906606-13-6 © Селезнева К., 2016
© Сошинская К., 2016
© Издательство «ИзЛиТ», 2016

Часть первая

**ОТ
ТРЕХ
ДО
ОДИННАДЦАТИ**

Начало автобиографии

Бывает, обстоятельства складываются так, что чувствуешь себя загнанным в тупик и не можешь понять, как выйти из этого положения. Хочется зарыть, как страус, голову в песок, спрятаться и ни о чем не думать... Но, оказывается, это не помогает, тебя все равно будут мучать вопросы, на которые не находится ответа. И однажды я поняла, что нужно в таких случаях делать. Нужно спрятаться в прошлом. Так родилась идея оживить свои воспоминания детства, но только точно свои, а не рассказы взрослых обо мне маленькой. Я начала записывать эти воспоминания очень давно, когда мама еще могла помочь мне датировать мои сюжеты. Но, кроме рассказа о неких событиях, мне хотелось также вспомнить и мое отношение к ним, мои рассуждения и настроения того времени. Вот так получился этот рассказ.

* * *

Мое самое первое воспоминание относится к тому времени, когда мне было три года. Меня поставили на небольшой чемоданчик и просят спеть песенку. Чемо-

данчик светло-коричневый, потертый. В комнате, это комната бабы Муси, несколько человек, перед моими глазами только их юбки и ноги, лица где-то в вышине, я их не вижу. Одна юбка такого же цвета, красного, как мое платье с вышитыми белыми зайчиками. Петь мне не хотелось, но я все-таки что-то спела и тут же начала изо всех сил топать ногами по крышке чемоданчика. Тут кто-то закричал: «Перестань топать! Сломашь чемодан!» Крышка, и правда, прогибается, но я не останавливаюсь, топаю и топаю. Кто-то снимает меня с чемоданчика, поднимает вверх, шлепает по попке и ставит на пол. Я отхожу к своей кровати, под которой стоит мой горшок, и продолжаю тихонько топать, взрослые разговаривают между собой и не обращают на меня внимания. А я приседаю и начинаю рассматривать, как устроен чемоданчик, какими хорошенькими круглыми гвоздиками привинчены к его уголкам пластиночки из белого блестящего железа.

В квартире, в которой живет баба Муся, есть две входные двери: одна называется «парадная», другая — «черный ход». В очень большой передней приятно пахнет, потому что в этой передней раз в неделю натирает пол до блеска какой-то мазью специальный дядя «нательщик». Я знаю, правильно надо сказать «полотер»,

но мне больше нравится мое название. В передней стоят две интересные вещи: маленький полукруглый столик, специально для телефона, и огромный старинный сундук; мне так хочется, чтобы его открыли, и тогда можно было бы посмотреть, что же там такое лежит, но, сколько я ни просила, сундук мне так и не открыли.

В этой квартире еще живут две племянницы бабы Муси — Нина и Марина Мазурины, а также ее брат, Петр Степанович, дядя Петя. Он живет в малю-ю-ю-сенькой комнате за кухней, в которой одно длинное окошко под потолком, и оно выходит не на улицу, как все окна, а на кухню. Дядя Петя часто приглашает меня зайти к нему и угощает конфеткой, это конфета «подушечка с вареньем». Конфетку надо сразу съесть в комнате дяди Пети, а то мама и баба Муся сердятся, когда я ем его конфетки. И пока я разворачиваю, а потом складываю фантик, чтобы положить его в специальную коробочку, где у меня хранятся все фантики, которые я собрала, дядя Петя сидит на своей кровати и читает газету. А больше ему и не на чем сидеть. У него есть только одна маленькая табуретка, но она как раз для меня.

Обе племянницы бабы Муси, и Нина, и Марина, по-моему, любят меня. Они, хоть и сестры, но очень разные, и ни у той, ни у другой нет ребенка.

Нина совсем некрасивая, но зато очень ласковая и добрая. Мы с ней обычно рисуем и чаще всего — домики. Наверное, Нине легче рисовать дома, потому что она их целыми днями придумывает, это у нее такая работа, она ар-хи-теееек-тор. Но вообще-то я рисую не только домики. В одном моем альбомчике, в котором я рисовала, когда мне было пять лет, я нарисовала лежащего в профиль человека, а вокруг этого человека разбросаны разные цветы. И когда я научилась писать печатными буквами, я подписала этот рисунок: «Похоны Крупской».

Марина развлекает меня чтением книг. Эти книжки, всякие там Маршаки и Чуковские, мне уже хорошо известны, мы их читали тысячу раз. Правда, Марина не так уж много читает, чаще она показывает мне альбомы с большими фотографиями киноартистов. Там их много всяких, но я запомнила только нескольких: Мэри Пикфорд — прямо как девочка, с кудряшками, Пола Негри — с черными-пречерными волосами, которые уложены в виде блестящей шапочки, и у нее толстые черные брови; а Дуглас Фэрбенкс так смотрит в упор, что от него хочется спрятаться. Больше всех мне нравится Грета Гарбо, я всегда прошу Марину подольше не закрывать Грету Гарбо, на нее приятно смотреть. Вооб-

ще-то, мне быстро надоедает разглядывать эти альбомы, но главное, что меня мучает в комнате у Марины, так это кусачие диванные подушки и кусачий коврик, который покрывает диван. Неужели Марина сама не чувствует, до чего царапучая эта материя? Не люблю сидеть на этом диване, когда у меня короткие рукава или ноги не в чулках, а в носочках. Но приходится терпеть, а то Марина обидится.

У бабы Муси не очень большая комната, и в ней живут четыре человека: я, баба Муся, моя мама и мой папа. В комнате бабы Муси тоже есть разные запахи, и приятные и не очень приятные. Приятные запахи — запах пустых флаконов из-под старинных духов, запах пудры, коробочка с которой стоит на туалетном столике. Баба Муся сказала, что эта пудра называется «Коти». Коробочка с пудрой красивого желтого цвета, на ней нарисованы белые пушинки с черными серединками. Мне очень, очень нравится запах «Коти», и мне хотелось, чтобы такая пудра была у моей мамы, но баба Муся сказала, что такая пудра продается только в городе Париже. А иногда, когда у бабы Муси болит сердце или когда она грустит, то чувствуется неприятный запах валерьянки, этот запах мне совсем не нравится.

В какой-то зимний день мы не идем гулять, потому что меня приглашает к себе на елку соседский мальчик Гера Гречушкин, который живет на втором этаже (а мы живем на первом). К соседям надо подняться по высокой лестнице, и мама собирается отнести меня на руках, а я хочу подняться по лестнице сама. Это сделать очень трудно, но я все-таки забираюсь на второй этаж. У Гречушкиных такая же большая передняя, как и у нас, и там пахнет точно так же хорошо. В середине передней стоит высокая елка, на ней висят игрушки и разноцветные флажки, а еще на ветках стоят в железных прищепках настоящие маленькие свечки. Мама Геры зажигает свечки и велит всем детям взяться за руки и ходить вокруг елки. Это называется — водить хоро-вод. Мне очень хочется скорее уйти домой, потому что одна девочка все время толкает меня в спину, и я даже чуть не упала. Но тут мама Геры начинает раздавать детям подарки в бумажных мешочках. У меня в мешочке были мандарин и большая конфета, на фантике которой нарисованы деревья и медведи.

Однажды мама приходит домой с работы и грустно вздыхает. Я спрашиваю ее:

— Мама, что ты ха-хаешь?

И мама отвечает:

— Я теперь больше не буду ходить на работу, я теперь плохая, я теперь иждивенка.

— Нет, мама, — говорю я, — ты не плохая. Ты — хорошая. Синяя.

По тому, что мама перестала ходить на работу, можно определить, что мне четыре года.

Когда мы с бабой Мусей выходим гулять, то баба Муся просит меня повторить вслух адрес нашей квартиры. Она говорит, что мне это нужно знать на случай, если я потеряюсь. Я, конечно, не хочу потеряться и каждый раз повторяю: «Краснопролетарская улица дом восемь квартира тринадцать». После этого мы с бабой Мусей сразу уходим с нашей улицы, потому что по ней ездят трамваи, которые очень громыхают, а еще от трамваев летят искры. И мы идем или в сад Третьего Дома Советов, или на Андропову яму, где я что-то не видела никакой ямы. Иногда мы ходим покупать бублики, которые делают в доме с красивыми украшениями, на углу Садового и Малой Дмитровки. Посыпанные маком бублики продают из одного окна этого одноэтажного дома, в комнате за этим окном их и пекут. А когда баба Муся получает пенсию, она покупает мне в детском магазине игрушек мешочек с бирюльками. Бирюльки — это такие крошечные деревянные штучки

в виде чашечек, блюдец, чайничков и всякой другой посуды, у всех этих штук наверху железная петелька. Еще в мешочке лежит деревянная палочка с железным крючком. Вот этим крючком надо зацепить петельку бирюльки и вытащить ее из мешочка. Мы с бабой Мусей покупаем два бублика, переходим Садовое кольцо и садимся на лавочку в сквере, который идет от угла Краснопролетарской улицы вдоль Оружейного переулка. Сначала мы едим теплые бублики с маком, а потом играем в бирюльки. Выигрывает тот, кто вытащит больше бирюлек. Почему-то получается так, что всегда выигрываю я. Баба Муся говорит, что моими тоненьким пальчиками легче забираться в мешочек с бирюльками, чем ее толстым. Когда мы возвращаемся домой, баба Муся жарит мне картошку «лепесточками», у нее получают такие ровненькие, рыженькие от зажарки кружочки, каких больше никто не умеет делать. Или баба Муся готовит мне яичницу, в которой никогда не расплываются желтки, и это самая красивая яичница на свете.

Мне пять лет. Мы больше не живем у бабы Муси. Мы живем на Верхней улице в общежитии Метростроя, потому что папа работает в Метрострое, он строит метро. На втором этаже общежития много жилых комнат,

умывальная, уборная, душевая и огромная кухня с громадной плитой в середине, на этой плите готовят еды много, не помню точно сколько, но много, хозяйек. У нас большая комната с двумя окнами. В ней помещается разная мебель — шкаф, стол, буфет, стулья, мамина-папина кровать, моя кровать, диван и мой уголок с игрушками. В нашей комнате почти целый день работает радио. Из радиопередач и из разговоров взрослых я узнаю очень многое. Например, о гражданской войне в Испании, о челюскинцах, о Чкалове, о женщинах-летчицах Гризодубовой, Расковой и Осипенко. На меня очень сильное впечатление произвела история Марины Расковой, которая, долго блуждая по лесу, выжила лишь благодаря тому, что съедала в день дольку шоколада, потому что у нее в сумке случайно оказалась плитка шоколада.

Наверное, в нашем доме стены очень тонкие, потому что через одну стену, которая выходит на лестницу, идущую от входа на наш второй этаж, слышно, когда кто-то поднимается снизу или спускается сверху. Иногда среди ночи я просыпаюсь от звука тяжелых шагов по лестнице и слышу какой-то тревожный шепот, который раздается с кровати мамы и папы. Бывает, что при этом папа встает с кровати, тихонько, на цыпочках,

подкрадывается к двери и к чему-то там прислушивается. Я думаю, что утром надо расспросить маму, зачем это папа прислушивался, но всегда забываю. И только спустя много лет, когда я уже выросла, мне стало понятно, почему мама и папа так волновались. Кто мог идти в наш мирный, семейный дом среди ночи? Всем же было известно, что в те времена по всей стране шли аресты.

Кажется, в этом же году у нас появились конфеты с необыкновенно красивыми фантиками. Я, конечно, собирала новые фантики и уже хорошо понимала, что эти конфеты привезены из какой-то страны «Прибалтика».

Отлично помню день 1 Мая. Мама и папа сидят рядышком на диване. В окно с чистого голубого неба светит яркое солнце. У папы и мамы прекрасное настроение. Папа одной рукой обнимает маму за плечи. На маме шелковая светло-зеленая кофточка с мелкими пуговками. Мама улыбается. Мне хочется усесться между ними, но я вижу, что они очень тесно прижимаются друг к другу боками и ногами. Мне нравится, что они такие веселые, но мне скучно одной на полу и мне обидно, что они не зовут меня к себе. Ну... тогда я иду в свой уголок и сажусь на свой стульчик. К ним спиной.

Я уже научилась читать. Когда мама и папа уходят в гости или в кино, то мама говорит, чтобы я, пе-

ред тем как лечь спать, поиграла в свои игрушки и в куклы. Вот чудно: мама до сих пор не знает, что я не люблю играть в куклы. Мне гораздо интереснее чего-нибудь делать. Например, я люблю раскрашивать фотографии в толстой «Книге о вкусной и здоровой пище», мама разрешила мне ее раскрашивать. Для раскрашивания и рисования мне, конечно, покупали цветные карандаши, и один раз папа купил смешной карандаш — наполовину красный, наполовину синий и с нерусскими буквами. Мне нравилось читать и, когда по вечерам мамы и папы не было дома, я доставала с полки мамину книгу «Роман-газета», где была напечатана повесть писательницы Пфлаумер «Моя семья». В этой книжке рассказывалось про семью, в которой было несколько приемных мальчиков и девочек. Почему-то мне было очень интересно читать об этих немецких детях. Конечно, я никому не рассказывала о своем тайном чтении. Еще я любила слушать по радио детские передачи, мне очень нравилась передача, в которой пели песенку «Я мальчик колокольчик из города Динь-динь». Когда родители вечером уходили, то они просили соседку Риву Ильиничну заходить ко мне, чтобы проверить все ли у меня в порядке. А что со мной могло случиться?

Днем я гуляла во дворе и там познакомилась с Ниникой и Колякой. На самом деле это были Нина и Коля. Просто они чуть-чуть развеселили свои имена. Ниника и Коляка жили в моем же дворе и тоже в бараке, только в более старом. У Ниники были тоненькие коротенькие белобрысые косички, завязанные тряпочками. А Коляка никогда не сморкался в носовой платок. Поэтому у него под носом всегда блестела мокрая верхняя губа. Почему-то мы обычно встречались около помойки. Стоило только мне выйти из дома, как они уже тут как тут.

Однажды на нашу Верхнюю улицу приехал странный грузовик. Я первая его заметила и позвала Нинику и Коляку посмотреть, что это за грузовик такой. И мы увидели, что в кузове грузовика стоит высокий столб с лестницей, а по столбу вверх-вниз ездит площадка с перилами. В этом грузовике было два рабочих, один стоял на площадке, другой — внизу в кузове. Нижний чем-то шелкал, площадка медленно ехала вниз, нижний передавал верхнему круглый белый стеклянный фонарь и после этого поднимал площадку с верхним рабочим, который, решила я, человек очень храбрый, потому что он даже не держался за перила, когда ехал вверх. Вот так на Верхней меняли уличные фонари, поменяли один — поехали к другому. А мы — я, Ниника и Коляка, как за-

колдованные, шагали за этим грузовиком. И прошагали от самого начала Верхней почти до Бегов. В этот осенний вечер рано начало темнеть, стал моросить дождик, но мы не могли остановиться и шли за грузовиком пока рабочие не повесили последний фонарь. И вот тогда они зажгли фонари на всей улице!

Даже теперь не хочется вспоминать, что тогда сказала мама. А еще она и смеялась, и ругалась, и обнимала меня. Оказывается, она уже поплакала, уже надевала пальто и несколько раз выбегала во двор, все надеялась найти меня там. В конце концов, меня все-таки наказали — на следующий день я осталась без прогулки.

Изредка мы всей семьей ездили в Красково, в гости к маминим папе, маме и сестрам. В тесном деревянном доме жили баба Ира, дед Матвей, мамины сестры, Лидочка и Надя, и овчарка Дэзи. Мне запомнился один ужасно невкусный обед, которым как-то кормила нас баба Ира. На первое был суп из воблы с пшеном, а на второе — жареная на каком-то горьковатом масле картошка, правда, она была полита сметаной. Я никак не могла доесть ни суп, ни картошку, но мама заставляла меня съесть все до конца и потом объяснила, что оставлять еду на тарелке нельзя, это может обидеть хозяйку.

Еда была, правда, невкусной, но на столе все было очень красиво. Бабушка разливала противный пшенный суп из большой красивой супницы в глубокие тарелки, а для второго были тарелки мелкие, вся посуда была одинаковая, разрисованная нежными светло-серыми цветочками, то есть из одного сервиза.

Мамина сестра Надя была художницей. Она рисовала картины масляной краской на шелке, эти шелковые картины потом вставляли в рамы. Картины были очень красивые, мне они так нравились! Один раз Надя дала мне кисточку и своей рукой двигала мою руку, получалось так, что будто я сама рисовала красивый цветок среди листьев. И тогда я подумала: «Вот бы мне тоже стать художницей!»

Помню одно зимнее возвращение из Краскова в Москву. Был уже поздний вечер, почему-то перрон лампами не освещался, светила только луна. Шел мелкий, легкий снег. Вдали раздался гудок электрички, которая не должна была останавливаться в Красково, гудок становился все громче, и вдруг включился прожектор поезда. Плотный белый луч пробил тьму, внутри луча заплясали снежинки. Несколько секунд — и поезд ушел. Снова наступила тишина, снова стало темно, и перестал падать снег.

По выходным мы с папой шли гулять и доходили по улице Горького от Белорусского вокзала до площади Пушкина. Конечным пунктом нашей прогулки был кинотеатр документального фильма «Новости дня». До начала сеанса мы сидели в фойе, вот раздавался первый звонок, публика шла в зал, а папа — оставался на месте. Раздавался второй звонок, я тянула папу за руку, а он ехидно улыбался и не вставал с кресла. Я так волновалась, вдруг мы опоздаем, и наши места кто-то займет! А папа не хотел этого понять, велел дожидаться третьего звонка, это он воспитывал меня. Как я злилась на него!

В один зимний день папа привел меня на Красную площадь. Там у мавзолея Ленина как раз шла киносъемка. Папа поднял меня и посадил к себе на плечи, чтобы я могла разглядеть, как снимают кино. Какой-то дядя рядом тоже поднял своего мальчика на плечи. Тут сразу кто-то недовольно сказал: «Не мешайте, уберите детей!» Но папа не поставил меня на землю, а дядя снял своего сына с плеч. Потом папа подошел к кинооператору и о чем-то с ним поговорил, но я ничего не услышала. Я, конечно, спросила папу, о чем они разговаривали, но папа мне ничего не ответил. А в следующий выходной папа позвал на прогулку с нами маму, она сначала не хотела идти, но папа что-то ей шептал, и

она пошла. Смотрим мы киножурнал, и вдруг я вижу на экране себя, крупно-крупно, еще видно кусочек папиной кепки и папиной щеки! Папа сказал, что это был «крупный план». Очень быстро «крупный план» кончился, и мы решили остаться на следующий сеанс с тем же фильмом.

Помню, как ранней весной мы с Вадиком, сыном маминой подруги Наташи Шапиро, выходим гулять во двор около его дома. Я должна несколько дней пожить у Шапиров, потому что маму зачем-то положили в больницу. Мы гуляем во дворе и видим, что с края крыши невысокого сарайчика свисают громадные сосульки. Так низко, что их можно отломить от крыши. Я хорошо знаю, что сосульки сосать нельзя, потому что можно «схватить ангину», но все-таки мы с Вадиком отламываем по сосульке. Только мне сосулька не нравится, и не потому, что от нее холодно во рту, а потому что варезки становятся мокрыми, а еще сок от сосульки пахнет чем-то неприятным.

— А вчера эту крышу мазали битумом, — говорит практичный Вадик, он больше знает, он же старше меня, на целых два месяца.

Нас рано укладывают спать. И я никак не могу заснуть, потому что очень хочется домой. Шапиры добрые

и хорошие, я даже не думаю плакать, но не закрываю глаза, все надеюсь, что вдруг откроется дверь и придет папа. И, может быть, отвезет меня на двадцать третьем трамвае домой. Но папы нет, и я решаю поговорить с мамой, не по-настоящему, конечно, а понарошку. Я тихо-тихо что-то шепчу. И вдруг слышу, как Вадька со своей кровати кричит:

— Киж! Бжось свою дужацкую пживычку шептать! — Так смешно он тогда картавил.

Весной папа повез меня в Симферополь, где живут его мама — баба Лиза, его папа — дед Павел и Маруся — папина сестра. Я впервые в жизни еду в поезде и сплю на верхней полке. Для того чтобы я не упала с полки, папа обвязал мою руку своим ремнем и как-то прикрепил его к ручке над полкой, за эту ручку я могу держаться, если захочу. Мне не понравилось ездить в поезде. Вагон все время качало из стороны в сторону, после остановок поезд изо всех сил дергался, на станциях в окошко светили сильные прожекторы. А еще очень царапалось грубое, колючее шерстяное одеяло, коричневое, потому что вместо пододеяльника там была простыня, которая все время сползала и в конце концов упала на пол.

Мой дед Павел оказался очень вредным человеком. Один стул за обеденным столом стоял так, что, сидя на нем, можно было видеть себя в высоком зеркале, стоящем у стены напротив. Мне хотелось сидеть как раз на этом стуле, и я так и делала утром и днем, но вечером, когда дед приходил с работы и бабушка звала всех к столу, он, хитро улыбаясь, быстренько занимал мое любимое место. Но вообще-то дед был хороший. В сумерки, пока еще не зажглись уличные фонари, дедушка вел меня за угол, на соседнюю улицу, Кадиевскую, в малюсенький магазинчик, где его друг татарин дядя Керим продавал газированную воду и всякие сладости. Дед покупал мне воду, которая мне нравилась, «Крем-соду», и микадо, такие слоеные треугольнички из вафель, промазанных медом. Пока я ела и пила, дед беседовал со своим другом.

Однажды утром папа предложил мне выбрать развлечение на этот день — пойти с дедом в цирк или поехать с ним и его приятелем кататься на мотоцикле. Он как-то так хитро уговаривал меня пойти в цирк, что я и выбрала цирк. А потом очень жалела, цирк есть и в Москве, а вот мотоцикла у нас в Москве нет, и, выходит, папа меня обхитрил.

А баба Лиза, желая всем показать свою внучку, предложила мне пойти в гости к ее знакомой, у кото-

рой есть чудесная собачка. Я уже знакомилась с одной собачкой, с овчаркой Дэзи, в Краскове. Баба Лиза сказала, что мне будет интересно познакомиться и с этой собачкой. Я решила взять с собой на прогулку новую куклу Тяпу, которую мне недавно подарила Маруся. Тяпа была одета в сарафанчик и жилетку из настоящего заячьего меха, которую ей сшила сама Маруся. Я очень полюбила Тяпу, и мне нравилось прижиматься щекой к ее меховой жилеточке.

Только баба Лиза открыла калитку во двор дома ее подруги и я шагнула внутрь, как тут же из-за угла дома с жутким лаем выскочила здоровенная собачища, которая кинулась прямо ко мне. Страшила встала на задние ноги, передние лапы положила мне на плечи, разинула пасть прямо у моего лица, выхватила своими зубищами из моих рук куклу Тяпу и стала терзать ее на земле. Подруга бабы Лизы выбежала из дома и что-то сердито крикнула собаке. Собака поджала хвост и отошла от нас, но жилетка Тяпы была разорвана в клочья, а головка куклы откатилась с дорожки в траву.

— Что случилось с Рексом, ума не приложу, — удивлялась подруга бабы Лизы, — обычно он такой спокойный!

— Рекс кинулся на меховую жилеточку куклы, на запах зайца, — сказала баба Лиза.

Какая умная у меня бабушка, подумала я. (После этого случая я стала ужасно бояться собак, и избавилась от этого страха только лет в двадцать.)

Еще мы с бабой Лизой ходили в гости к ее двоюродной сестре Зинаиде Ильиничне. Зинаида Ильинична была школьной учительницей, она преподавала литературу, а ее муж был адвокатом. Мне очень нравился их дом, там были высокие потолки и паркетные полы, а еще в большой комнате был черный, блестящий рояль, на котором всегда стояла ваза с какими-нибудь цветами; больше всего мне нравилось, когда это были пионы, они очень красиво отражались в лакированной крышке рояля. Мне хотелось, чтобы и у бабы Лизы были такие же высокие потолки и паркетные, а не простые дощатые полы, и чтобы на этих полах лежали не длинные половики, которые Маруся связала из разноцветных тряпочек, а такой же большой красивый ковер, как лежал перед диваном у Зинаиды Ильиничны.

Неожиданно я заболела. Пришел доктор и сказал, что у меня болезнь желтуха. Совсем не помню, что у меня болело, кажется, была высокая температура, и я так потела, что баба Лиза ночью меняла мне рубашку. Все вокруг очень волновались, несколько раз прихо-

дил все тот же доктор, мне давали какие-то лекарства. Но, несмотря на эти лекарства, баба Лиза заставляла меня пить противную соду, она все говорила, что лучше соды лекарства еще не придумали, что сода лечит от многих, почти от всех, болезней. Однажды Зинаида Ильинична принесла мне банку черной икры. Она сказала, что ребенку, то есть мне, необходимо поддерживать силы, которые я потеряла во время болезни. Это была очень вкусная поддержка сил. Хотя баба Лиза настойчиво повторяла, что, конечно, от икры была польза, но все равно излечила меня сода.

Летом мы и Шапиры поехали на дачу в Поваровку. Наш дом стоял над железной дорогой, на краю откоса. Мы жили на втором этаже. У Шапиров была комната побольше и более солнечная, а у нас поменьше и потемнее. Но так решила Наташа Шапиро, она сказала, что зато им мешают спать поезда, а у нас будет гораздо тише. Я замечала, что Наташа вообще любила командовать, а мама предпочитала не спорить.

Мы ходили купаться на речку. Правда, это была не совсем настоящая речка, скорее, это был довольно широкий и почти глубокий ручей. Нам с Вадиком вода была по плечи, а мамам до пояса. Еще за домом был

небольшой прудик, в котором, правда, никто не купался, потому что там жили стаи тритонов, лягушек и стрекоз.

Мама и Наташа любили прогулки, лучше всего была прогулка на Сечу. Сеча — это такая большущая поляна с невысокими молодыми деревцами. Поляна эта всегда была освещена солнцем, и на ней росло много, очень много, ужас как много, земляники. Можно было, не сходя с места, и в баночку набрать, и наестся до отвала. Но все-таки для нас с Вадиком самым главным развлечением было катание по откосу. Кататься по откосу нам разрешали только в том месте, где откос внизу кончался подальше от шпал и рельсов. Чтобы прокатиться по откосу, нужно было лечь наверху откоса на бок, повернуться на живот, потом еще раз на бок и оттолкнуться руками, а потом тебя уже как-то само переворачивало и несло вниз. Трава била по лицу, во все стороны разлетались мелкие камешки, царапались какие-то щепочки и веточки, то показывалось небо, то темнота земли, кружилась голова, но все равно это было великое удовольствие. Нас удивляло, что взрослым не хотелось так покататься. Правда, мы не очень-то много катались по откосу, не больше двух раз в день, да и то если несколько дней не было дождя. Зато после дождя мы с мамами

ходили в лес за грибами. Вадик очень хорошо собирал разные грибы, а мне почему-то попадались только сыроежки. И однажды мы заблудились. Быстро надвигался вечер, а мамы никак не могли выйти на какую-нибудь дорогу. Как ни странно, мне тогда совсем не было страшно, настолько мы были уверены, что взрослые что-нибудь да придумают. И, по-моему, мамы больше, чем мы с Вадиком, обрадовались, когда наконец вышли к железной дороге. Вообще-то, мне нравилось, что мы живем около железной дороги. Смотреть на поезда было очень интересно. Самыми скучными были товарные составы, они слишком долго тащились по рельсам. Самым быстрым был поезд «Красная стрела». Вадкин папа, Яша, несколько раз ездил на «Красной стреле» в командировки, и мы все, зная расписание, стояли на шапировском балконе и ждали, когда он помашет нам рукой из окна вагона.

Шапиры привезли на дачу патефон, но пластинок у них было мало, только «Утомленное солнце нежно с морем прощалось» и арии из оперы «Евгений Онегин». В этой опере мне больше всего нравилось, как девушки пели «Душеньки-подруженьки», эту песню я знала от начала и до конца. Да, еще одна пластинка была — «Венский вальс» какого-то Страуса, под эту музыку

мама с Наташей танцевали в шапировской комнате, где было больше места.

Как-то раз Наташа попросила нас с Вадиком отнести баночку сметаны старшей сестре Яши, Нине Масевне, которая жила совсем недалеко, только пройти через молоденький лесок, где недавно были посажены невысокие, ростом чуть выше нас, елочки. Когда мы вошли в этот лесок, Вадик вдруг и говорит:

— Давай попробуем, вкусная сметана или нет.

— А как?

— А пальцем. — И, сняв тряпочку, которой была прикрыта баночка, опустил палец в сметану. Я сделала то же самое.

Прошли мимо нескольких елочек, Вадик снова говорит:

— Давай еще разок.

— А если увидят?

— Не увидят, за елочками нас не видно.

Лизнули еще раз. И еще. Было вкусно. Когда до дома Нины Масевны оставалось пройти еще чуть-чуть, я увидела, что сметаны стало как-то маловато, но все-таки еще было почти полбаночки. Получив от Вадика баночку, Нина Масевна покрутила ее в руке, подняла бро-

ви домиком, сделала удивление на лице, тихо сказала: «Спасибо» и больше ничего.

На следующий день Наташа говорит маме:

— Встретила тут у колонки Нину, какая-то она странная, даже не поздоровалась, только кивнула головой и больше ни слова.

Прошел еще один день, приехал из Москвы Яша, Вадькин папа, и пошел проведать сестру. Вернулся и спрашивает Наташу:

— Что это за история со сметаной? Нина так на тебя обижена.

Наташа пошла к Масевне, вернулась и спрашивает:

— Кто придумал воровать сметану?

— А мы ничего не воровали, мы просто попробовали, — сказал Вадик и замолчал.

— Так кто из вас это придумал?

Я знала, что ябедничать нехорошо, поэтому решила ничего не говорить и просто показала пальцем на Вадика. А он как завопит:

— Она тоже, она тоже! — Подскочил ко мне и как вцепится зубами мне в щеку!

А я, чтобы отодрать Вадьку от себя, схватила его за волосы. Мы стояли в коридоре на втором этаже, как раз у начала узкой деревянной лестницы, и, покачивав-

шись, не удержались, оступились и оба покатались по лестнице вниз. Хорошо, что впереди была площадка перед поворотом на следующий марш, так что падали мы недолго. Я слышала, как головы наши стучаются о ступеньки. Вадька разжал зубы, а я выпустила из кулака его волосы, только когда мы долетели до площадки. Мама будто окаменела. Они молча застыли наверху. Только после того как мы, остановившись на лестничной площадке, заревели, они опомнились и друг за дружкой кинулись по лестнице к нам. Мама стала щупать наши руки-ноги, не сломали ли мы чего-нибудь, а мы продолжали реветь, думаю, что не от боли, а от страха. Руки-ноги наши были целы, отделались мы лишь синяками и царапинами.

Нам очень повезло, что мы устроили этот полет, потому что родители сильно перепугались, только жалели нас и не стали наказывать за воровство.

(Вадька, к счастью, не прокусил мне щеку, но след от его зубов был виден у меня на правой щеке еще много лет.)

Папа, мама и баба Муся решили, что меня обязательно надо учить музыке. Денег на пианино не было, а на скрипку насобирали, поэтому в будущем мне придется

быть скрипачкой. Баба Муся попросила одну свою знакомую пианистку подготовить меня к экзамену для поступления в музыкальную школу. Та стала заниматься со мной ритмикой, пением, и я выучила с ней романс Рахманинова «Поутру, на заре, по росистой траве...» На экзамене меня просили пропеть ноты, которые кто-то наигрывал на рояле, повторять ритмические фигуры, которые простукивал тот же преподаватель, и, кроме романса, я должна была еще повторить короткие неизвестные мне мелодии. Этот первый в моей жизни экзамен был единственным из череды следовавших затем экзаменов, когда я совершенно не волновалась. Меня приняли в музыкальную школу имени Гнесиных.

После того как я успешно сдала экзамен, мама на радостях повела меня в кино, в кинотеатр «Художественный». Там шел кинофильм «Концерт Бетховена». В этом кинофильме мне очень понравился кудрявый, красивый мальчик, который играл на скрипке концерт Бетховена. Это был Марк Тайманов. (Тот самый известный скрипач и шахматист Тайманов.) Но еще больше, чем мальчик, мне понравилась музыка концерта Бетховена, и «Каденция» после первой части концерта (я не знала тогда, что это такое — каденция, мне потом объяснил значение этого слова мой учитель по скрипке

Валерий Яковлевич Чернышев). Музыка каденции надолго стала моей любимой мелодией. Выйдя из кино, я сказала маме, что хочу поскорее научиться играть на скрипке, чтобы играть концерт Бетховена так, как играет этот красивый мальчик. А про себя я еще подумала, что, если бы умела хорошо рисовать, то обязательно нарисовала бы этого мальчика, чтобы на него можно было дома смотреть.

Мне очень нравились уроки у Валерия Яковлевича, доброго и приветливого. Он очень хорошо меня учил, и зимой я уже играла на первом зачетном выступлении концерт Ридинга. И получила «отлично». К этому выступлению мама сшила мне красное бархатное платье, с отделкой старинными кружевами. На занятиях у Валерия Яковлевича я подружилась с девочкой, моей ровесницей, Ингой Батуриной, а моя мама подружилась с мамой Инги, Раисой Соломоновной Намиот.

Следующим летом мы снова приехали в Поваровку. И снова там произошел ужасный случай. На этот раз я сама придумала вроде бы веселую игру. Только я не могла и представить себе, что игра эта может оказаться такой опасной.

Тем летом на прудике, что был за нашим домом, поставили мостки. Эти мостки были сделаны из широ-

ких досок. Последнюю доску, свисавшую над глубоким местом, как-то плохо прибили. Потому на этой доске можно было покачаться — одной ногой наступить на ее левый край, тогда поднимался правый край, а потом изо всех сил наступить другой ногой на правый край, тогда поднимался левый. Нам с Вадиком очень понравилось это развлечение, и однажды я предложила Вадiku покачаться на этой доске сразу вдвоем. Мы с ним встали по концам доски, и я подпрыгнула первая, при этом я держалась рукой за перильца. А с Вадькиной стороны перил не было, поэтому, когда его конец доски от моего прыжка взлетел вверх, Вадька не удержался и упал в воду. В том месте, оказывается, было довольно глубоко, так что Вадька погрузился в воду с головой. Я растерялась и не знала, что делать. Рядом — никого. Вадька разок вынырнул, разинул рот, поколотил руками по воде и снова утонул, но мне было видно его голову в воде. Я изо всех сил закричала: «Ма-а-ма!» Но меня почему-то никто не услышал. Тогда я легла пузом на край мостков и потянула Вадьку за воротник рубашки, он в этот момент, наверное, встал на какой-то бугорок на дне, и его голова оказалась на воздухе. Тут он тоже закричал изо всех сил: «Ма-а-а-ма!» Видно, в этом крике было столько ужаса, что из дома выскочила наша хозяйка и помчалась к нам.

Она прыгнула в пруд и вытащила Вадьку. С него свисали, как мокрые тряпки, какие-то водоросли, ноги были измазаны черной грязью, он дрожал.

В этот раз мамы не стали допытываться, кто виновник того, что Вадька чуть не утонул, а быстро нагрели воду, чтобы вымыть и согреть утопленника. А я все думала и думала: если начнут спрашивать, кто изобрел такую опасную игру, сказать, что это я, или не говорить. Но никто не спросил. А я сама промолчала.

Мне, конечно, надо было заниматься на скрипке. Каждый день. По часу. Как я завидовала Вадьке! Они же не привезли на дачу его пианино! При этом Вадька еще и дразнил меня: «Киристик — пиликалка», выходило, что я не играю, а пиликаю.

Я играла гаммы, рядом со мной лежала книжка, которую я привезла из Москвы, чтобы почитать в перерыве, хотя стоило мне только замолчать, как тут же в дверь просовывалась мамина голова, которая говорила, что мой перерыв затянулся. Я все время смотрела на часы, на круглый, блестящий, пузатый будильник, который стоял на тумбочке около маминой кровати. Мне казалось, что его минутная стрелка почти совсем не двигается, а если и двигается, то со скоростью улит-

ки. И я решила помочь будильнику, чуть-чуть двинула стрелку вперед, немножко, всего на пять минут. И я стала делать это каждый день, не понимая, что каждый день я занимаюсь всего лишь на пять минут меньше. Денек-другой мама огорчалась из-за поломки в будильнике, а потом обо всем догадалась. Наказание было жестоким. Мама перестала со мной разговаривать. Со всем. Ни одного слова. И так я прожила до того дня, как приехал из Москвы папа.

Папа позвал меня погулять, и в ближнем лесу мы с ним поговорили.

— Ты уже большая девочка, тебе семь лет, — сказал папа. — После этого случая ты должна понять, что не следует хитрить и обманывать, вранье всегда обнаружится, и потом тебе будет только хуже, потому что, когда человека обвиняют во лжи, то человеку становится ужасно стыдно.

И правда, мне было очень стыдно.

Как я любила папу!

Маму я тоже любила. Когда она не была такой строгой.

На следующее лето мы поехали в Поваровку только в середине июня. У Вадика родилась сестра, а у меня поздно закончились занятия в музыкальной школе. Но

это лето оказалось совсем не таким, каким мы его ожидали. Потому что 22 июня началась война.

Как только мы слышали в воскресенье по радио о войне, папа и Яша Шапиро сразу же уехали в Москву. Они вернулись в Поваровку только к концу второго дня. Оказалось, что папе не нужно было идти на войну, потому что тем, кто строил метро, давали какую-то «бронь». А Яша получил такую же бронь потому, что он работал на очень важном военном заводе. Мама и Наташа немного успокоились, Но все равно все очень нервничали и не могли говорить ни о чем, кроме как о войне. Сначала я не очень-то понимала, насколько это страшная война, я ведь помнила, что совсем недавно уже была одна война, с Финляндией. И это было совсем не страшно, только приходилось стоять в очередях за продуктами. Но сейчас я как-то почувствовала, что война с немцами очень опасна, из разговоров взрослых я поняла, что немцы так скоро завоевывают нашу страну, что могут дойти даже до самой Москвы. От этого внутри у меня что-то сжималось и ныло, а иногда хотелось просто так плакать.

Хорошо помню, как однажды утром я проснулась раньше всех, лежала и смотрела на окно, за которым росли разноцветные астры — розовые, лиловые и бе-

лые. Под легким ветерком астры покачивались на фоне чистого голубого неба, на них светило солнце «Эх, астры, астры, — подумала я, — хорошо вам, ничего-то вы не знаете об этой страшной войне».

Мы собрались и уехали в Москву. Папа весь день пропал на работе, в метро, под землей, а мама решила уехать со мной в Красково к бабе Ире. Все боялись, что Москву вот-вот начнут бомбить с немецких самолетов, а уж Красково немцы, конечно, бомбить не будут. Борис, муж моей тети Лидочки, вырыл во дворе около дома «щель», то есть длинную, узкую яму небольшой глубины, на дно которой он положил еловые ветки. Взрослым, если садились на дно ямы, надо было пригибать голову. В первую же ночь бабахнуло где-то поблизости, и мы все, взяв свои одеяла, побежали в «щель». Когда бабахнуло во второй раз, то слышно было, как что-то чиркает по листьям кустов. Мы посидели-посидели в щели, но захотелось спать и все пошли в дом, а Борис остался в яме, чтобы не прозевать пожар, если что-то загорится. Наутро я нашла под кустом какую-то небольшую железяку с неровными краями, железяка почему-то была теплой. Мы прожили у бабы Иры целый день и еще одну ночь, и мама поняла, что бессмысленно прятаться в Краскове, так что на следующий день мы уехали в Москву.

Папа очень обрадовался, что мы вернулись, но стал говорить, что нам с мамой придется э-ва-ку-и-ро-вать-ся. Я не знала, что означает это слово, и папа объяснил мне, что, когда людям в их городе угрожает опасность, то люди на время переезжают в другое место, в котором им ничего не будет грозить, — эвакуируются. Все вокруг куда-то уезжали. Наташа Шапиро с Вадиком и маленькой дочкой уехала в Пензу к родственникам. Баба Ира и мамина сестра Лидочка с маленьким сыном Стасиком уехали в Краснодар к сестре Бориса. Раиса Соломоновна и ее дочка, моя подруга Инга Батурина, уехали в город Самарканд. Оттуда Раиса Соломоновна прислала маме письмо, в котором звала нас приехать к ним, она писала, что у них большая комната, места всем хватит и что она уже записала Ингу в музыкальную школу, куда можно записать и меня.

Мы очень долго ехали до Ташкента, где должны были пересест на поезд, идущий в Самарканд. Мы ехали так долго потому, что все время останавливались и пропускали поезда, которые шли на фронт. В Ташкент мы приехали поздно вечером, почти ночью. У нас было очень много вещей — девять мест и еще я со скрипкой. Вынести наши вещи из вагона помог нам Юрий Влади-

мирович, который ехал в нашем купе. Я спросила маму, зачем нам столько вещей. И мама ответила:

— Затем, что мы едем в неизвестность, и никто не знает, на какой срок.

Мама уложила весь наш багаж на большущей привокзальной площади, у ограды сквера. Там же уселся и наш сосед по купе. Он тоже ехал в Самарканд и обещал маме помочь погрузить нас в вагон.

Мама пошла узнавать, когда и откуда отправится поезд в Самарканд, и очень долго не возвращалась. Наступила ночь. Юрий Владимирович сказал мне, чтобы я последила за его чемоданом и тоже куда-то ушел. Мне стало страшновато. Черное небо, по которому то и дело шарят прожекторы, тревожные гудки паровозов. Огромная толпа, люди кричат, толкаются и куда-то бегут. Где же мама?

Наконец сквозь толпу пробралась запыхавшаяся мама. Она сказала, что по радио объявят, когда будет посадка на наш поезд, так что я должна внимательно слушать объявления диктора. Но диктор так непонятно все время что-то выкрикивала, что понять ее было невозможно. И я сказала маме, чтобы и она тоже прислушивалась, а мама сказала, что у нее от нервов так разболелась голова, что она за себя не ручается. Тут, от-

талкивая кого-то от наших вещей, появился наш сосед и выкрикнул, что нам надо срочно грузиться в вагон. Выходит, мы с мамой все пропустили. Мама велела мне не отходить от этого места, они с Юрием Владимировичем как-то ухватили весь наш багаж и куда-то побежали. Я осталась одна. Толпа стала еще больше и кричала еще громче. Кто-то, пробегая мимо, что-то крикнул на непонятном языке и чуть не повалил меня на землю, но я удержалась. А мамы все нет. Вот тогда я совсем испугалась и даже немножко заплакала. На всю жизнь я запомнила, как мне стало страшно, когда я представила себе, что мама почему-то не вернется и я останусь совсем одна в этой ужасной, орущей толпе. Мне стало так себя жалко, мне показалось, что я стою одна целый час. Целых два часа... Вдруг появился разлохмаченный Юрий Владимирович. С криком: «Я же забыл про тебя!» он подхватил меня на руки и, расталкивая всех вокруг, помчался к поезду. Когда мы подбежали к вагону, войти в него уже было невозможно, тамбур был забит народом. А гудок паровоза бешено завопил: «У-у-уезжа-ю-ю!» Сосед метался со мной на руках по перрону и увидел, что мама стоит у окна и пытается открыть форточку. Форточка, к счастью, открылась, и сосед стал меня в нее запихивать. Хорошо, что он был

высокий, а я худая и умная, поскольку сначала просунула в форточку скрипку. Мои ноги еще болтались на улице, и мама все никак не могла втянуть меня внутрь, а поезд уже дернулся, сначала в одну сторону, потом в другую, и вот! Поезд медленно поехал. Кто-то все-таки помог маме втащить меня в вагон. У меня что-то заколотилось в груди и застучало о ребра, наверное, сердце. И я громко заплакала.

— Ну, что ты сейчас-то плачешь? Мы же в вагоне, едем, мы вместе... — сказала мама, вытирая косынкой слезы.

— А как же наш сосед? Он, что, остался в Ташкенте?

— Ой, я и забыла! Какой ужас! — воскликнула мама.

В купе отдельного места для меня не было, и я села на колени к маме. Села — и сразу же заснула. Пока я спала, до нас добрался Юрий Владимирович. Оказывался, он как-то смог уже на полном ходу вскочить на подножку последнего вагона, и ему помогли удержаться люди, которые стояли в тамбуре. А потом он целый час пробирался к нам мимо людей и тюков.

Дом, в котором нам предстояло жить в Самарканде, стоял на узкой улице за глухим глинобитным забором. В центре двора между калиткой и входом в хозяйский

дом возвышался бетонный постамент, высотой мне до плеч и размером с нашу комнату в Поваровке. На этом возвышении хозяева принимали гостей. Слева от этого постамента был довольно большой сад. В нем было штук десять деревьев, много кустов и густая трава. Сад был тенистым, грустным и загадочным. В нем пахло сырой травой, прелыми листьям и мелкими хризантемами. Мы с Ингой гуляли по саду и сочиняли волшебные сказки про любовь. Сначала одна из нас играла роль принцессы, а другая была принцем, потом мы менялись ролями.

Нам казалось, что наши хозяева никогда не появляются в саду. Во всяком случае, мы их там никогда не видели. Иногда, когда мы выходили в сад, к нам приходила соседская девочка Мастура. Она была нашей ровесницей. Она носила длинный стеганный халат, шаровары, красивую тюбетейку и смешные тапочки на босу ногу. У Мастуры было круглое, как блин, лицо, щеки ее были похожи на пышные оладушки, а брови были нарисованы синей краской. Мастура сказала, что этой краской, которая называется «сурьма», рисуют себе брови все узбекские девочки и женщины. Из-под тюбетейки на спину Мастуры спускались тоненькие косички, много косичек, очень много косичек — сорок, Ма-

стура разрешила нам их сосчитать. Она рассказала, что голову ей моют раз в месяц, причем кислым молоком, а косички, конечно, иногда распускают и переплетают, только делают это очень редко. Иногда Мастура приносила нам с Ингой большущие персики и мушмулу из своего сада.

В нашу комнату вел отдельный от хозяев вход, этот вход представлял собой тонкую фанерную, плохо закрывающуюся дверь без замка. Комнату освещало одно окно, а вечером — одинокая лампочка без абажура, под потолком. Пол комнаты был глинобитным, его не нужно было мыть, а нужно было только подметать. В комнате стояли две кровати, одна для нас с мамой, вторая для Раисы Соломоновны и Инги. Еще в комнате был стол, несколько стульев, кухонный шкафчик, полки для посуды, плита, на стенах были вбиты гвоздики для одежды, на большом гвозде висело круглое зеркальце. Умывальник был приколот к столбику во дворе рядом с нашей дверью. Во дворе же, в маленьком деревянном домике, находилась и уборная. Я не помню, как стирали белье, но помню, что грязное белье складывали в большую плетеную корзину. Однажды в этой корзине Раиса Соломоновна обнаружила настоящего живого скорпиона. Раиса Соломоновна вытряхнула

бледного, будто прозрачного, скорпиона из корзины на пол. Он был небольшой, размером с мою ладонь. Нас предупреждали, что скорпиона нельзя брать руками, ужалит своим хвостом, и от этого можно умереть. Тогда как раз топились печка. Раиса Соломоновна подхватила скорпиона совком для мусора и бросила его в огонь. Я решила, что не буду смотреть, как скорпион загорится. Он ведь не скажет, что ему больно, и никто его не пожалеет, а все будут радоваться, что его больше не надо бояться.

Из-за этой войны получилось так, что у меня не было самого первого 1-го сентября, пришла я в первый класс только десятого сентября. Мы с Ингой были в одном классе, там, правда, был всего один первый класс. Я ничего не помню об учебе в первом классе, кроме того, что мне было скучно учиться, потому что я давно умела хорошо читать и папа научил меня складывать и вычитать. Только сначала я не умела писать красивые буквы в тетрадке в три косых, потому что у нас дома не было такой тетрадки, а то мама меня научила бы. Но зато я хорошо помню все, что касается любовных историй, которые тогда случились у нас с Ингой. Мы обе влюбились в мальчика из седьмого класса. Он был

высоким, тоненьким, с прямыми светлыми волосами, которые падали ему на лоб, он носил черную рубашку и черные, настоящие мужские брюки. Мы выискивали его во дворе во время большой перемены, чтобы просто на него полюбоваться. У нас уроки кончались раньше, чем у старших классов, и иногда мы после уроков пробирались в спортзал, где этот мальчик занимался у шведской стенки. Нам казалось, что он делает упражнения лучше всех. Он нам очень нравился.

Но оказывается, и в нас кое-кто влюбился. Однажды после уроков ко мне подбежал один мальчик из нашего класса, Костя. Подбежал и сунул мне в руку какую-то бумажку. А к Инге тут же подбежал другой мальчик — Эдик и тоже сунул ей в руку бумажку. И, не говоря ни слова, мальчики быстро побежали домой. Эти мальчики не были эвакуированными, они всегда жили в Самарканде. Мы с Ингой, конечно, сразу же развернули бумажки. В одной было написано: «кира я тебя лублу костя», в другой: «инга я тебя лублу эдик». И одна, и другая записки были написаны одним и тем же корявым почерком, а ошибка в слове «люблю» была потому, что в классе еще не проходили букву «ю». Мы эти записки не выбросили, спрятали их в портфели, но при этом очень боялись, что если их увидят мамы, то нас

будут ругать. Непонятно почему, но мы чувствовали себя в чем-то виноватыми! Короче говоря, мы решили, что не стоит хранить этот криминал. И когда пришли домой, то вынули записки из портфелей, перечитали их, пошли в уборную и, еще раз прочитав там эти любовные послания, порвали бумажки на мелкие кусочки и выбросили в дыру в уборной.

После того как мы с Ингой выбросили эти ужасные записки, мы пошли в наш темный, сырой, таинственный сад и стали снова сочинять сказки про любовь и при этом рассуждали о том, что же это такое — любовь.

Но на этом любовные истории не закончились. Еще мы с Ингой влюбились в сына очень доброго симпатичного Михаила Николаевича, нашего преподавателя по скрипке. Мальчика тоже звали Миша, он учился в четвертом классе, после уроков в школе он всегда приходил к папе на занятия, тут-то мы с ним и познакомились и подружились. Он не был таким красавцем, как семиклассник в черной рубашке, но тоже был красивый. Михаил Николаевич устроил всем своим ученикам концерт в детском саду. Мы все вместе пошли в этот детский сад, и Миша нес мою скрипку. После концерта нас позвали обедать. На обед был борщ и котле-

та с пюре. В тарелках с борщом лежали большие куски свеклы. У меня в тарелке свеклы не оказалось, и Миша отдал мне свою свеклу. Но лучше не отдавал бы. Это угощение так плохо подействовало на мой живот, что я до сих пор не могу есть вареную свеклу. Так вот, когда мы вышли из детского сада, Инга быстро протянула Мише свою скрипку и сказала, что теперь ее очередь.

Вообще-то, если бы не злая роль куска свеклы, обед в детском саду был бы очень кстати. У нас кончались деньги, от папы давно не было писем. Вот какой у нас чаще всего был ужин: большая сковородка жареного на курдючном сале лука, чай с лепешкой и вместо сахара виноград киш-миш. Или каша из крупы маш и опять чай с лепешкой и киш-мишем. И таким ужином нам приходилось делиться с гостями.

К нам сначала изредка, а потом и каждый вечер стал приходить дядя Раисы Соломоновны, Саул Моисеевич, он приводил с собой своих друзей из Литвы — Додика и его жену Грету, которые ушли из дома «в чем мать родила», как говорил Додик. Гости из Литвы рассказывали, что когда они поняли, что им необходимо немедленно уехать из города, то до отхода служебного автобуса Додика оставалось только десять минут. Они рассчитывали быстро вернуться в Каунас, но, к сожалению, их

путешествие затянулось. Автобус быстро сломался, это случилось вечером, и в первую ночь людям хоть было где переночевать. Но автобус был яркого желтого цвета, он оказался хорошей мишенью, и ранним утром их обстреляли. Додик и Грета чудом остались живы. Рассказ Додика продолжался долго, он растянулся на всю дорогу беженцев от Каунаса до Самарканда. Во время этого рассказа Грета плакала. Мама и Раиса Соломоновна тоже плакали. Я не плакала, но мне было очень-очень страшно, мне хотелось зажать уши, чтобы ничего этого совсем не слышать. Теперь у Греты даже не было пальто, для тепла у нее был только вязаный из гаруса плед. Плед, правда, был очень красивый, он был сделан из больших квадратов: белых, сиреневых и светло-зеленых. (Потом, когда я уже была взрослой, когда у меня образовалась своя квартира, мама мне в подарок связала точно такой же плед.) Приближалась зима, на улице становилось холодно, в доме у нас тоже было холодно, и Грета всегда куталась в свой плед.

Гости исчезли на следующий день после того, как я заболела корью. Не знаю, могут ли взрослые заразиться корью от ребенка, но мне кажется, все боялись заболеть, а болела все-таки я одна. К нам несколько раз приходила симпатичная женщина-доктор. После того

как у меня температура снизилась и я постепенно стала выздоравливать, доктор сказала, что мне каждый день надо давать по ложке вина «Кагор», чтобы я быстрее окрепла. И мама купила бутылку этого «Кагора», и я каждый день перед обедом пила столовую ложку сладкого вина. А однажды, когда мы с Ингой уже легли спать, я увидела, как мама и Раиса Соломоновна налили себе по чуть-чуть «моего» вина, чокнулись своими чашками и стали медленно, маленькими глоточками пить. Я думаю, что мама хотела поднять свое настроение. Где-то я слышала, что вино улучшает настроение, но что-то я этого по себе не замечала, когда пила свою лечебную порцию «Кагора». Раисе Соломоновне вовсе и не нужно было поднимать настроение, потому что от папы Инги, Виктора Ивановича, только что пришли письмо и денежный перевод. А вот мама все чаще хмурила лицо и по ночам тихонько плакала в подушку — нам не было ни письма, ни денег. Куда же пропал наш папа?

Седьмого ноября мы с мамой ходили на рынок, который был устроен на площади в середине Регистана. Регистан — это, вроде бы, не знаю точно, самаркандская церковь или музей, или что-то еще, это неважно, важно то, что это очень-очень красивое здание, вернее, несколько зданий и минаретов с голубыми куполами.

В стенах зданий — интересные арки странной формы, а сами стены не покрашены какой-то краской, а полностью, сверху донизу, облицованы разноцветными — белыми, голубыми, ярко-зелеными — плитками, которые образуют сплошной узор.

В этот день мы купили на рынке лепешки, киш-миш и круг сливочного масла — по виду как бы сильно растолстевшее большое чайное блюдце. Мы возвращались дальним путем, по-моему, маме не очень хотелось идти домой. Перед нами была длинная, довольно широкая улица, обсаженная фруктовыми деревьями. По краям мостовой бежала-шумела-бормотала вода в арыках. Было холодно. Яркое солнце совсем не грело. Чистое, без единого облачка, небо было голубым, на большой высоте его голубизна переходила в синеву. Длинная улица уходила вдаль, в конце ее виднелись горы, покрытые сверкающим, будто горевшим белым пламенем, снегом.

— Мам! Посмотри, как красиво! — не выдержала и почти закричала я. — Ты согласна, что это чудо, как в сказке? Эти горы! Ну, улыбнись...

— Не могу, — печально ответила мама. — Не получится... Губы отказываются улыбаться до тех пор, пока мы не узнаем, где сейчас наш папа.

Маме было грустно, а из репродукторов гремели праздничные марши.

В конце месяца от папы пришло письмо, а вскоре и деньги. Оказывается, метростроевцев отправили из Москвы в Куйбышев и почему-то оттуда письма к нам не доходили. И вот в марте 1942 года папа приехал за нами, и мы втроем поехали из Самарканда в Сибирь, в город Абакан, где папа должен был работать на строительстве какого-то таинственного тоннеля. Про этот тоннель папа рассказывал маме шепотом, когда думал, что я сплю.

Мне не хотелось расставаться с Ингой, мы с ней очень хорошо дружили. Еще было неизвестно, есть ли в каком-то там Абакане музыкальная школа, а если есть, то какой там будет преподаватель.

По дороге в Абакан надо было делать пересадку в Новосибирске. Мы с мамой переночевали в детской комнате на вокзале, где утром нас накормили вкусной-превкусной рисовой кашей с клюквенным киселем.

В Абакане мы снимали комнаты в трех домах на одной улице. По очереди — в доме 14, потом в доме 20, потом в доме 10.

В доме 14 комната была совсем маленькой, но мама как-то быстро сделала ее очень уютной. Мама познакомилась с женщиной по имени Маргарита, тоже эвакуированной, которая жила в соседнем доме. Эта Маргарита мне совсем не нравилась. Входя к нам в комнату, она начинала с порога: «Кто это тут у нас такой кьясивенький, такой умный-язумный»... — сюсюкала она. Я просто слышать этого не могла. Что она думала? Почему вела себя со мной, как с маленьким ребенком? А мне ведь уже было восемь лет!

Как только папа уезжал в тайгу на стройку, так Маргарита каждый вечер проводила у нас. И каждый раз получалось, что она приходила точно к ужину. Однажды, когда мы с мамой возвращались домой после занятий в музыкальной школе, мама сказала, что мы не поедем на автобусе, а пойдем пешком, надо бы нам прогуляться. И наш ужин сильно задержался. Хозяйка сказала, что приходила Маргарита, которая очень расстроилась, узнав, что нас нет дома. Перед сном я придумала, как надо схитрить. На следующий день вечером я стала хныкать и жаловаться маме на то, что я ужасно проголодалась и умру от голодной смерти, если меня сейчас же не покормить. Когда Маргарита вошла в дом, мама уже мыла посуду после ужина.

Приятно было посмотреть на лицо Маргариты. Такой же голодный полуобморок я устроила и следующим вечером. Немного погодя мне стало стыдно: а вдруг из-за моей вредности человек остался голодным, но потом я сообразила, что у Маргариты наверняка есть еда. Просто ей не хочется возиться, готовить, мыть кастрюльки, да к тому же моя мама очень вкусно готовит. Ну, я быстро успокоилась. Я подумала подольше и пришла к выводу, что, может быть, мама нарочно устроила ту вечернюю прогулку, чтобы мы опоздали к приходу Маргариты.

Скоро вернулся из тайги папа, и мы сразу же переехали из дома 14 в дом 20. Переехали потому, что хозяйка стала понемножку воровать наши продукты. В доме 20 у нас была большая комната. А у хозяев была большая семья. У них было семеро детей — четыре девочки и три мальчика. Самому младшему, Ваське, было три года. Он был очень странно одет. На ногах всегда, даже летом, были настоящие валенки, в которых болтались тонкие ножки, на голове — военная фуражка, которая сползала ему на глаза, и в завершение — его голое, толстенькое пузо было перепоясано лохматой веревкой. Ни рубашки, ни штанов. Хозяева — жена и потерявший на войне ногу муж — особенно детей не баловали, за сте-

ной часто слышался детский плач и тоскливый писк: «И-иисть хочу!»

Я подружилась с хозяйскими девочками и стала ходить с ними в поле за цветами: в начале лета за разноцветными — красными, белыми, розовыми — небольшими тюльпанами, в середине лета — за пикульками. Пикульки — это местное название небольших ирисов. Ирисы были одного цвета, лилового, но лилового всех оттенков, от совсем бледно-сиреневых до темных, как лиловые чернила. Я приносила домой замечательные букеты, но мама была недовольна, почему-то ей не нравилось, что я хожу в поле. Я думала, что ничего плохого в этих прогулках нет, ведь поле начиналось прямо от конца нашей улицы, оно было как бы продолжением улицы, в поле легко было выйти и так же легко вернуться домой, если возникла бы какая-нибудь угроза.

И угроза возникла. На наше поле приехал цыганский табор. Мама, папа и наша хозяйка строго-настрого запретили нам, гуляя по полю, подходить к табору. Мы и не подходили, мы только издали смотрели на них, на цыган. Васька, конечно, тоже ходил с нами, и однажды он куда-то пропал. Мы сразу этого и не заметили. А когда кто-то увидел, что Васьки рядом нет, мы стали кричать:

— Васька! Васька! Ты где? Иди к нам! — И вдруг увидели Ваську уже почти около первой цыганской палатки, где его подняла на руки какая-то женщина.

— Бежим! — крикнула Люба, старшая дочка нашей хозяйки.

Мы помчались к табору. Нас было много. По-моему, мы испугали цыганку. Она тут же поставила Ваську на землю и быстрым шагом ушла в глубину табора за палатки.

— Матери не говорите, — приказала Люба.

Цыгане жили на нашем поле почти целое лето, все местные их побаивались, но постепенно к ним привыкли. И однажды утром мы увидели, что цыгане исчезли. На месте табора осталось много мусора и большое пятно выжженной травы на том пятачке, где обычно горел костер.

Осенью я пошла в школу, во второй класс. Школа была недалеко от нашего дома, я выходила за полчаса до начала уроков. Идти в школу надо было по узкой дорожке вдоль последних домов (вернее, одноэтажных домиков) города. Значит, слева от этой дорожки стояли домики, а справа уже было поле, то самое поле, на которое мы ходили гулять и собирать пикульки.

А дальше, за полем, вдалеке-вдалеке, виднелся лес. Там уже была тайга. Эту школу называли «Школа на Кирпичиках». Так ее называли потому, что она находилась рядом с кирпичным заводом. В школе этой было всего две больших классных комнаты. В одной комнате занимались первый и второй классы, а в другой — третий и четвертый. Во время большой перемены все выходили в широкий вестибюль и ходили друг за дружкой по этому вестибюлю, как бы по кругу. На большой перемене нам выдавали или по бублику, или по куску черного хлеба, чуть посыпанного сахарным песком. В нашем классе учился страшный бандит по имени Чекан. Он сидел во втором классе уже третий год и все еще так и не умел читать. Он носил сапоги, смятые гармошкой, и всем было известно, что за голенищем сапога у него засунут нож. Я ужасно боялась Чекана и возвращалась домой только вместе с девочками из моего класса, поэтому всегда шла с ними дальним путем, через кирпичный завод, где были громадные, очень глубокие ямы, из которых брали песок. Один раз Чекан погнался за нами, мы побежали от него, а он поскользнулся и, наверное, упал в яму. Что с ним было дальше неизвестно, потому что в школе он больше не появлялся.

Странно, но почему-то мама даже и не думала провожать меня в школу. Вот в музыкальную школу она меня сопровождала, но это понятно, поскольку, чтобы попасть в музыкальную школу, которая была расположена в центре города, приходилось переходить через железнодорожные пути, через вокзал. К тому же это путешествие для мамы было хоть каким-то развлечением.

По утрам я смиренно выходила в мороз из теплого дома, на улицу, в ночь под черное небо — таким было сибирское утро — и безропотно шагала по неутоптанному снегу на «Кирпичики». И однажды...

Однажды из-за домов, которые выглядели, как черные кубики, выбежал большой волк. Настоящий волк. Я запомнила его на всю жизнь. В зубах он держал свиную голову. Я хорошо все рассмотрела, потому что от ужаса застыла на месте. Темень, холод, черные домики, ни одного человека, я одна. Волк — и я. Зверь тоже остановился, покрутил головой из стороны в сторону. Ему явно было не до меня, у него в зубах уже была добыча, и он побежал в поле. В этот момент из-за облаков вышла луна. При свете идти было бы спокойнее, но все равно я долго не могла сдвинуться с места. Вот тогда я поняла, что значит выражение «поджилки трясутся». Папа и мама потом успокаивали меня, пытались убедить, что

это был не волк, что это была большая собака. Но что же, я волка от собаки не отличу? Видели бы они его!

Зима была очень холодной. А уборная в том доме, где мы снимали комнату, находилась в деревянном домике, во дворе. Это было мучение. Мне было полегче, я могла воспользоваться ночным горшком, а родителям было совсем плохо. Так что мама стала искать другой дом. И нашла дом 10. Оттуда как раз уехали эвакуированные, они переехали в деревню около Абакана, там было лучше с продуктами. Дом был очень теплый, уютный, с чудесной, доброй хозяйкой Устиньей Тихоновной. Мама с ней очень подружилась. Постепенно мама приобрела в Абакане несколько подружек, с ней многие хотели дружить. Как-то одна из этих подружек принесла полотняный мешочек с сушеной сахарной свеклой и попросила маму спрятать мешочек у себя, до поры до времени. К сожалению, хозяйка мешочка, развязав хитрый узелок из двух тоненьких тесемок, дала мне и маме по кусочку свеклы. И это — увы! — оказалось очень вкусно. На следующий день, когда мама куда-то ушла, я позволила себе взять из полотняного мешочка один совсем небольшой кусочек свеклы. И послезавтра, и послепослезавтра я снова себе позволяла... Остановиться было очень трудно. Каждый раз, вытаскивая

очередную «конфетку», я все уговаривала себя, что никто ничего не заметит, вряд ли хозяйка полотняного мешочка запомнила, сколько кусочков свеклы было с самого начала. Так я стала воровкой.

Когда все открылось, я была в очередной раз жестоко наказана. Мама замолчала на неделю. Я получила хороший урок и, конечно, пообещала, что больше никогда ни у кого не возьму ни кусочка сахарной свеклы из полотняного мешочка.

Я надеялась, что папа, который только что вернулся из тайги, пожалеет меня, но я ошибалась. Папа был занят своими приключениями в тайге, он с восторгом рассказывал, как ловко там, в тайге, он подстрелил тетерева и каким вкусным был суп из этой птицы. Устинья Тихоновна спросила, почему же он не привез оттуда еще одного тетерева, чтобы здесь все попробовали вкусный бульончик. Папу хвалили за меткость, а я расстроилась. Я не понимала, как это мой папа мог убить мирную птицу, которая никому ничего плохого не сделала, а просто спокойно гуляла по лесу. Понятно, что можно было бы застрелить волка, который загрыз поросенка. И вообще. Тут человек съел несколько кусочков чужой сахарной свеклы, и его за это наказывают, а за убийство живого существа даже хвалят.

Питание в Абакане, как и в Самарканде, было довольно скудным. Сладостей, конечно, почти не было. Редко-редко мама покупала на рынке маленькую банку меда. Но в булочной продавались очень вкусные мятные пряники, мне нравилось обмакнуть пряник в чай с молоком, откусить кусочек, почувствовать его сладость, его вкус и потом уже глотнуть чаю. Еще помню, как на рынке продавалось сливочное масло. Оно продавалось замороженным, в форме той мисочки, в которой его замораживали, и странно, что помню цену такого сливочного масла — килограмм его стоил 800 рублей. А когда еще мы жили в доме 20, то там была очень большая кухня, где мама варила сыр из молока. Почему важно, чтобы кухня была большой, — потому, что сыр должен был «выстаиваться», и пока сыр выстаивался, он долго, противно вонял, и в маленькой кухне эта вонь была бы невыносимой...

И вот, наконец наступил тот день, когда папа пришел после работы и сказал, что, может быть, если ничего непредвиденного не произойдет, если решение не переменят, если сверху не придет новое распоряжение... то через неделю его командировка кончается, и все метростроевцы из Управления возвращаются в Москву.

В мае сорок третьего года вагон с метростроевцами и их семьями выехал из Абакана. До Москвы мы добивались почти целый месяц. Мало того что поезд шел очень медленно и подолгу стоял на каких-то станциях и полустанках, так еще наш вагон постоянно отцепляли от основного состава, отводили на запасный путь, и там мы могли стоять день, два дня, ждать, когда нас прицепят к новому составу. Все время было жарко, хотелось вымыться, хорошо, что в одном месте наш вагон поставили недалеко от бани. И было очень скучно. Читать было нечего. Мама предложила было позаниматься, но я даже представить себе не могла, что выну скрипку и буду пикировать в этой духоте.

В Москве нас ждал «сюрприз». Пока нас не было, в нашу комнату въехал вонючий, мрачный толстяк по фамилии Соляник. Он и не собирался уезжать, и нам пришлось жить вместе с ним. В первую же неделю в Москве был налет. Мы с мамой провели ночь в метро «Белорусская». Мама взяла с собой только одно тонкое одеяло, так что спать на мраморном полу было холодно, и мы с мамой так и не заснули. Папа оставался дома, чтобы гасить зажигалки, но в этот раз обошлось без пожаров. И это был последний налет немцев на Москву.

Меня отправили на месяц в пионерский лагерь, куда-то под Каширу. Лагерь располагался в Лесной школе. Это был большой двухэтажный дом, который стоял в мрачном сыром лесу, на дом не попадало ни капли солнечного света. Все время шли дожди, и все время было холодно. Отряд девочек занимал громадную комнату, все целыми днями сидели на кроватях и вели дурацкие разговоры. Главной в этой комнате сразу же стала здоровенная девица с громким голосом, по имени Юнона Захарова. Она обычно и заводила разговор, в основном и только, об отношениях мужчины и женщины. За этот месяц я получила сексуальное образование в полном объеме. Если я чему-то удивлялась или, не поняв чего-то, переспрашивала, надо мной смеялись.

Когда я вернулась в Москву, папа привез меня в комнату квартиры в прекрасном доме напротив Курского вокзала. Хозяева этой комнаты был в эвакуации, и я подумала, что мы скоро станем для них «сюрпризом», вроде Соляника. Во второй комнате этой квартиры жили супруги Добровольские — Евгений Валерьянович и Татьяна Васильевна. У них была очень хорошая библиотека. К тому времени я уже очень любила читать, и, когда я заходила к ним и просила: «Евгений Валерья-

нович, дайте, пожалуйста, что-нибудь почитать», Евгений Валерьянович каждый раз отвечал: «Почитай отца и мать», но книжку давал. Я была слишком глупа, не догадывалась, что надо было бы придумать какую-то другую формулировку просьбы. Как раз в это время в Москве начались первые салюты, которые очень хорошо были видны из окна нашей комнаты. Мы, конечно, не пропускали ни одного салюта.

Осенью я пошла в третий класс школы № 328 в Лялином переулке. Там я подружилась с двумя девочками, сестрами Наной Азизян и Мариной Катанян. Нана и Марина были девочками из очень хорошей армянской детской, но именно они продолжили мое образование по части секса, рассказывая анекдоты такие же противные и глупые, как и анекдоты Юноны Захаровой. Поскольку и Нана, и Марина были не в ладах с арифметикой, то я часто после школы заходила к ним домой, чтобы помочь им решить задачки. Мама Наны была художницей, она показывала нам свои картины, которые мне очень нравились, и мне захотелось научиться так рисовать, о чем я сказала сестрам. И когда я пришла к девочкам в следующий раз, мама Наны подарила мне альбом для рисования, кисточку и маленькую коробочку с акварельными красками и сказала при этом, что

с удовольствием поучит меня рисовать. Она показала, как надо держать кисточку, как набирать краску из коробочки, как отжимать с кисточки лишнюю воду, как не смешивать и как смешивать цвета. И в конце велела мне дома нарисовать в альбоме какой-нибудь рисунок карандашом, например, чашку с ложкой или бутылку с молоком, или стул, или что угодно другое. Я сразу же, как вернулась домой, рассказала об этом маме, но мама вовсе не обрадовалась, она сказала, что, во-первых, неудобно занимать время работающего человека, а во-вторых, у меня для этого рисования нет свободного времени, надо побольше заниматься на скрипке, поскольку мне предстоит экзамен. Но я все равно пыталась дома что-то рисовать карандашом. Я нарисовала маленький стол на трех ножках, красивый кувшин для кваса, стеклянную вазу для цветов и однажды попросила папу позировать мне. И папа на моем портрете получился похожим! А ведь я впервые в жизни рисовала портрет, если не считать портретом то, что в Самарканде я рисовала Мاستуру. Я так радовалась, мне так нравилось рисовать! Мама, правда, ворчала, что лучше бы я готовилась к экзамену в музыкальной школе. А мама Наны похвалила меня, ей понравился папин портрет, и она сказала, что сейчас ей некогда, но чтобы я обязательно

пришла к ним завтра и тогда она объяснит мне, как надо рисовать человеческие лица.

Когда же на следующий день я пошла после школы к девочкам заниматься арифметикой, произошел случай, который так на меня подействовал, что с тех пор я просто не смогла даже проходить мимо дома Наны и Марины. Дело было так. Мы только вошли со двора, освещенного солнцем, в темный подъезд, как нам навстречу откуда-то из-за угла быстро шагнул чуть сгорбленный мужчина в черном пальто и в черной шляпе, от которой на его лицо с разинутым ртом падала тень. Пальто было расстегнуто, и под распахнутой полкой мужчина держал худой белой рукой что-то отвратительное, толстое, как сарделька, красное. Мне почему-то стало так страшно, что у меня заколотилось сердце и меня чуть не вырвало. Мы помчались по лестнице вверх, а Нана при этом громко кричала: «Мама! Мама!» Мама Наны, видно, стояла в этот момент у двери, потому что дверь квартиры сразу же открылась. Мы, перебивая друг друга, рассказали об этом страшном мужчине. Мама Наны напоила нас чаем, объяснила, что это был, наверное, какой-то больной человек, и когда я собралась уходить, она проводила меня до моего дома. Но ни на следующий день, ни позже мой страх никуда не ушел, и я про-

сто не могла ходить к девочкам. И так и не научилась тогда рисовать лица людей.

Поскольку идея сделать меня музыкантом все еще не оставляла маму, папу и бабу Мусю, то меня повели на прослушивание в школу музыкального училища при Консерватории. Я успешно прошла это испытание и попала в класс к Николаю Георгиевичу Панюшкину. Это был очень-очень красивый мужчина, пожилой, лет сорока, с седой прядью в черных волосах. Он был не только учителем, но еще играл в оркестре Большого театра и очень этим гордился. Прежде мне везло на добрых учителей, но Николая Георгиевича никак нельзя было назвать добрым человеком. За все время, что я у него занималась, он, по-моему, ни разу не улыбнулся. Он был строгим, и я его побаивалась. Можно даже сказать, что он был суровым. Однажды я услышала, как он разговаривает с мамой ученика, который задержался на уроке. Николай Георгиевич говорил: «Ну, что вы все: Шостакович, Шостакович! Что это за музыка, которую никто не может исполнить, это невероятно трудно технически даже для сверхопытных музыкантов». И говорил он это недовольным, раздраженным голосом, скривив рот. Моя мама была со мной у него только на первом

уроке, и я почувствовала, что он ей не очень-то понравился. Дома мама сказала, что кажется, будто он делает тебе одолжение, когда разговаривает с тобой. В тот раз Николай Георгиевич сказал маме, что мне срочно надо поменять скрипку-четвертушку на половинку. То же самое говорил и преподаватель в Абакане, но там не было магазина музыкальных инструментов. И у меня появилась новая скрипка. Я быстро к ней привыкла и теперь стала заниматься по полтора часа в день, а Николай Георгиевич сказал, что скоро я должна буду заниматься по два часа. И вот я стала ездить на метро с Курского на Арбат, а потом шла в Мерзляковский переулок. И совершала я эти поездки два раза в неделю в свои десять лет. Я уже чувствовала себя совсем взрослой.

В середине зимы вернулись из эвакуации хозяева комнаты, к которой мы уже привыкли, в которой мы прожили почти целый год. Куда нам было деваться? Единственным человеком, к которому мы могли постучаться в дверь, была баба Муся. И, конечно, она с радостью нас приняла. Конечно, в небольшой комнате было довольно тесно для четырех человек. Правда, тесно стало и во всей квартире. У Нины, племянницы бабы Муси, за эти годы родилось двое детей — девочка и мальчик. На кухне, когда там начинали готовить все

женщины, собиралось по пять хозяек: баба Муся, Нина, Марина, моя мама и Нюра, домработница Нины. Но, несмотря на тесноту, несмотря на войну, полы в квартире 13 по-прежнему были натерты, только меньше блестя. Потому что, как сказал «натуральщик полов», то есть полотер, хорошую мастику было не достать, да и работать ему стало труднее после того, как его ранили на фронте.

Несмотря на наше переселение к бабе Мусе, учебный год надо было кончать в школе № 328, и пришлось мне ездить в школу в Лялин переулок. Мой день теперь состоял из бесконечных поездок и переходов по Москве. Ранним, темным зимним утром, а зима в тот год тянулась бесконечно, я шла по Краснопролетарской улице, переходила Садовое кольцо, садилась на «Б», ехала до Земляного Вала, шла в Лялин переулок и после уроков повторяла весь этот путь в обратном порядке. Дома я обедала и, взяв скрипку, снова отправлялась в путь, ехала в музыкальную школу. А в то время в музыкальную школу я должна была ездить уже три раза в неделю, потому что к занятиям по специальности у Николая Георгиевича добавилось сольфеджио. Я снова шла до конца Краснопролетарской, сворачивала по Садовому кольцу направо, шла до площади Маяков-

ского, а потом по улице Горького доходила до площади Пушкина, где садилась на 15 или 31 троллейбус, ехала до Никитских ворот и шла в Мерзляковский переулок. После всех этих путешествий дома надо было еще сидеть уроки, а мама требовала, чтобы я училась только на «ОТЛ» и хотя бы час позанималась на скрипке. Что-то я не помню, чтобы кто-нибудь пожалел меня, сказал бы в конце дня: «Бедная девочка, как ты, наверное, устала!» Впрочем, я уверена, что если баба Муся ничего подобного и не говорила, то она наверняка думала об этом, однако, будучи человеком воспитанным, сдержанным и молчаливым, не позволяла себе ничего, что могло бы огорчить окружающих или вызвать чье-то недовольство.

В мае 1944 года папа наконец получил от Метростроя однокомнатную квартиру на Петровке. И мы смогли уехать от бабы Муси. Учебный год закончился, меня записали в школу № 635, рядом с новым нашим домом, и отправили еще в один пионерский лагерь.

В этом лагере, в отличие от мокрого, темного лагеря под Каширой, было жарко, сухо, душно и пыльно. И там не разрешалось днем сидеть в спальне. Там все время заставляли делать что-то «пионерское» — какие-то по-

строения, какие-то забеги, какие-то конкурсы, короткие походы следопытов и всякую такую дребедень.

Второе воскресенье смены было объявлено родительским днем. Наконец-то, думала я, целый день не будет этих скучных пионерских глупостей. Я так ждала маму и папу, я собрала им чудесный букет из полевых цветов. Но что-то в этом месте было такое, отчего там всем становилось скучно. Мы пошли, прогулялись в ближнем лесочке, немножко полежали на травке, потом посидели на лавочке, где ели мои любимые мамины пирожки с капустой. Больше делать было нечего, и мне показалось, что мама и папа, только приехав, уже торопятся уехать. Самое обидное, что мама, которая охала и ахала, увидев мой букет, забыла его на скамейке, на которой мы сидели, ожидая автобуса. Когда я увидела это, то сначала подумала, что мама дома расстроится, а потом поняла, что никому этот букет вообще не нужен.

И все-таки, несмотря на все мое ворчание, я должна признать, что мне с этим лагерем очень повезло. Раз в три дня в лагере появлялся художник Александр Иванович. Это был очень странный старичок, высокий, худой, загорелый, с совершенно седыми волосами, вздувавшимися венчиком вокруг головы. На нем всегда

была тельняшка, широкие синие штаны, измазанные краской, и сандалики, вроде детских, на босу ногу. Пионервожатая раздала тем, кто хотел рисовать, альбомы для рисования и карандаши, а тем, кто просил, дала и акварельные краски. Сначала на занятия собиралось человек десять-двенадцать, но потом нас, рисовальщиков, осталось только четверо. Два раза художник ставил нам натюрморты, один раз показал, как нужно рисовать пейзажи. И всегда подсаживался к кому-то из нас, чтобы поправить и закончить рисунок, при этом он так увлекался, что пионервожатой приходилось останавливать его, чтобы мы не опаздывали на ужин. Однажды Александр Иванович объявил, что следующее наше занятие будет последним, мы будем рисовать портрет, и он уже выбрал в качестве натурщицы очень красивую девочку из нашей четверки, Киру Берко. У нее были русые, чуть выющиеся волосы, серо-голубые глаза и, самое главное — четко-четко обрисованные губы и небольшой, очень точной формы, нос. Я уже несколько раз рисовала людей, но это были быстрые наброски в маленьких блокнотах, а теперь надо было сделать законченный рисунок в настоящем, большом альбоме, изобразить лицо, шею, волосы и начало плечей. Александр Иванович велел рисовать простым карандашом.

Все быстро, кое-как нарисовали портрет и разошлись, а мне хотелось еще порисовать, я считала, что портрет пока не закончен. Узнав о том, что занятий больше не будет, я так расстроилась, что чуть не заплакала. Тогда Александр Иванович погладил меня по голове и сказал, что он вообще-то собирался завтра в Москву, но ради меня придет сюда в лагерь, чтобы я смогла закончить портрет при нем, и надеется, что натурщица нас не подведет.

Натурщица нас не подвела. Александр Иванович ради меня одной пришел в лагерь. Я нарисовала правда хороший портрет. И все сложилось так, будто кто-то очень сообразительный удачно приготовил мне подарок, потому что как раз в тот день мне исполнилось одиннадцать лет.

Родные и близкие

У меня в детстве было много родственников, у родственников были друзья. Мне кажется, что все они меня любили, а я, конечно, любила их. Наверняка не всех одинаково, но иначе и не бывает.

Постепенно мои родные и близкие покидали наш мир, но никому из них не поставили памятника, в лучшем случае — положили могильную плиту. Я часто думаю о том, что существование каждого человека, буквально каждого, следует отметить или хотя бы вспоминать о нем. До сих пор помню, какое сильное впечатление на меня произвела «Синяя птица» Метерлинка. Ведь когда дети вспоминали умерших бабушку и дедушку, те возвращались! Думаю, что мысли и воспоминания всех еще живущих о тех, кто ушел, это и есть нерукотворные памятники.

Пока мы живы — живы и те, кого мы помним, о ком думаем.

ДЕД ПАВЕЛ, БАБА ЛИЗА, МАРУСЯ

Отец моего папы, мой дедушка ПАВЕЛ ВАЦЛАВОВИЧ СОШИНСКИЙ, был четвертым ребенком поль-

ского дворянина, сосланного в Крым после польского восстания 1863 года. В Крыму Вацлав женился на Марии Акимовне, девушке из зажиточной семьи, происходящей из Смоленской губернии. У Павла были два старших брата и сестра. Братья учились в кадетском корпусе в Севастополе. А у Павла не лежала душа к наукам, и, окончив гимназию, он стал служить конторщиком на винном складе. Там он без памяти влюбился в Лизу Жданову, которую нанимали на этом складе на поденную работу — мыть бутылки. Отец Лизы был мельником, а мать, гречанка Феодосия, повивальной бабкой. Елизавета Прокофьевна Жданова, 1882 года рождения, была очень красива. У нее были пышные темные выющиеся волосы, очень белая кожа, пухлые губы, большие прозрачные светло-зеленые глаза.

Павел объявил родителям, что хочет жениться на Лизе, но родители сочли, что это неравный брак, да к тому же невеста — бесприданница, и Мария Акимовна спрятала от сына паспорт. Но влюбленный жених не желал подчиняться родителям. И когда он пригрозил самоубийством, то паспорт вернули, жениха и невесту благословили. Венчали молодых в Севастополе, жили они в Феодосии, где в 1905 году у них родился сын, которого в честь наследника престола называли Алексеем. Через семь лет у четы Сошинских родилась дочь Мария.

Вскоре после рождения Алексея Сошинские переехали в Симферополь, где Павел Вацлавович обзавелся собственным домом. Обладая красивым почерком, Павел стал служить писарем в казенном управлении Симферополя. Часть домовладения Павла Сошинского сдавалась внаем жильцам. Все домовладение состояло из двух длинных одноэтажных домов с черепичной крышей и белеными стенами и двора с фруктовыми деревьями — два абрикоса, две груши, грецкий орех, еще там росли олеандры и много разных цветов. Жильцами этой коммуналки были люди разных национальностей — татары, греки, евреи и армяне.

После революции Павел Вацлавович разумно переменил отчество, и скромный конторский служащий Павел Владимирович Сошинский постарался скрыть свои дворянские корни. По рассказам моего папы, дедушка Павел был скромным, тихим, скучным человеком, считал себя несчастным, жизнь свою неудавшейся. Но никогда не забывал о своем благородном происхождении и постоянно напоминал об этом жене, которая была «из простых». Однако он, несмотря на свое благородство, при случае мог дать волю кулакам. Когда в соседнем доме шло строительство и рабочие, напившись по выходным, начинали драться, то разнимать их, как расска-

звала бабушка, звали Павла Владимировича: одному в морду кулаком, другому в морду — и драка прекращалась, видно, сильные были кулаки. Испытывал силу этих кулаков и его сын Алеша. За плохие отметки, за то, что в десять лет начал курить. Я видела деда Павла только один раз, когда папа возил меня перед войной в Симферополь. До сих пор помню грустный взгляд голубых глаз моего дедушки.

Осенью 1940 года, в день празднования Октябрьской революции, к деду в гости пришел его двоюродный брат, который, дурачась во дворе, напялил на себя маску, похожую на кого-то из вождей. Баба Лиза, навеки испуганная советской властью, заставила деда написать об этом случае куда надо, не дожидаясь того, что это сделает кто-то из соседей. В результате ее и деда судили за клевету и посадили в тюрьму. Бабушку почти сразу же выпустили, а деда с тех пор никто больше не видел. Как ни разыскивала его бабушка, нигде — ни в милиции, ни в НКВД, ни в тюрьмах — Павла Владимировича Сошинского не было. Официально было заявлено, что он «умер в заключении».

БАБА ЛИЗА. У дедушки и бабушки были плохие отношения. Даже мне, еще маленькой, было это видно.

И баба Лиза подтвердила мне это, когда я выросла и приезжала к ней после войны. Баба Лиза говорила, что всю жизнь прожила у деда в прислугах. Папа считал, что между его родителями давным-давно не было ни любви, ни нежности, ни дружбы. Как я помню, дедушка и бабушка, бывало, целыми днями совсем не разговаривали друг с другом.

Баба Лиза работала по дому с рассвета до позднего вечера. Домашнее хозяйство требовало очень много сил и времени. Каждую весну нужно было белить стены дома снаружи и внутри. Воду брали из колонки, стоявшей во дворе. Большую печь в кухне топили углем, и его надо было натаскать из сарайчика. Белье, которое всегда было белоснежным и накрахмаленным, кипятили в здоровенном баке. Баба Лиза трудилась целый день и позволяла себе отдохнуть только в самом конце вечера. Часов в одиннадцать она садилась, говорила: «Надо перекемарить», дремала, облокотившись о стол, затем минут через пятнадцать-двадцать просыпалась и начинала читать газеты при свете керосиновой лампы (электричество провели в дом только в конце сороковых годов), вот это был ее отдых.

Сил и энергии в бабе Лизе было столько, что хватило бы на несколько человек. Она рассказывала мне, что

во время Гражданской войны и общей разрухи ездила в Джанкой, где покупала дешевую соль, чтобы продать ее в Симферополе много дороже. Однажды на обратном пути паровоз сломался, и поезд остановился в степи, не доехав несколько километров до города. И совсем невысокая бабушка потащила на себе два мешка соли, каждый по пуду весом.

Когда я приезжала к бабе Лизе, она вставала очень рано и шла на базар, чтобы принести «внучечке» все самое вкусное и свежее. К тому моменту, когда «внучечка» просыпалась, на табуретке у изголовья ее постели стояла большая миска с темно-красной черешней огромного размера, которая называлась «воловье сердце».

Баба Лиза изумительно вкусно готовила, у нее я ела самые вкусные в мире вареники, чебуреки и пироги с вареньем, которые поверху были украшены плетенкой из тоненьких полосочек теста.

Баба Лиза прожила всю жизнь в Симферополе, в Москву она приезжала только дважды. Первый раз, когда надо было заставить папину сестру Марусю вернуться в Симферополь, и еще раз, когда надо было разобрататься в сложностях отношений моих родителей.

Казалось, что баба Лиза никогда ничем не болела, несмотря на то, что жизнь ее была очень трудной. Прав-

да, в последние годы она стала жаловаться на то, что у нее часто болят ноги и она не может, как прежде, быстро пробежаться на базар.

О ее красоте в молодости рассказывали фотографии, бабушкины сестры и племянники. В старости, как я ее помню, баба Лиза была маленькой, сухонькой, быстрой в движениях, всегда носила простую темную одежду, и на фотографиях последних лет видно, что она стала повязывать голову белым платочком.

Мой папа, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ СОШИНСКИЙ, родился в Севастополе 23 сентября 1905 года. Папа честно признавался, что учился он в гимназии неважно, зато с удовольствием пел в церковном хоре, у него был прекрасный слух и, как рассказывала баба Лиза, прекрасный голос. За плохие отметки Алешу отец порол ремнем, а однажды его оставили без еды на целый день. Так его наказали за то, что он, десятилетний, покурил с компанией друзей на улице и, наткнувшись на своего классного наставника, сунул папироску в карман шинели. Карман задымился. Скрыть преступление не удалось.

Папа окончил только восемь классов, надо было работать, зарабатывать деньги. После школы он до

1925 года через биржу труда попеременно работал то сборщиком тракторов, то разнорабочим на консервной фабрике. Иногда подрабатывал тем, что сторожил сады в окрестностях Симферополя. Он был душой компании, которая сложилась из мальчиков, живших, как и Алеша, в Глухом переулке. Все эти мальчики переехали в Москву и остались друзьями на всю жизнь. Папа был франтом и чистюлей, он каждый день неукоснительно чистил до блеска ботинки (к чему приучил и меня).

В 1926 году Алеша уехал в Москву, где поступил в Электромашиностроительный институт имени Я. Ф. Кагана-Шапшая, в котором —

«...сдал все требуемые Институтом зачеты... с выпускным проектом на тему: «Центральная электрическая станция 7 500 к.в.» и прошел практический стаж на заводах в течение трех лет, в силу чего может работать в качестве эл. монтажн. инженера.

Подписи...

Сентября 22 1930 года».

После окончания института Алешу направили в Ленинград, где он работал на верфи, но вскоре, в том же 30-м году, его призвали получать военное образование в Московской артиллерийской школе. Потом он работал в своем же институте, где преподавал в группе

«особого назначения», в которой обучались крупные партийные работники, там у моего отца учился будущий нарком энергетики. Во время учебы в институте Алеша подружился с семьей Марии Степановны Гуревич — с ее дочерью Наташей и двумя ее племянницами Ниной и Мариной. Он и его друзья часто бывали в квартире Марии Степановны и Наташи. Впоследствии Мария Степановна сыграла значительную роль в жизни Алеши. В 1931 году Алеша женился.

В 1934 году Алексей начал работать в Метрострое. Когда пустили первую линию метро, то на станции «Белорусская» повесили большие фотографии отличившихся строителей, среди них была и фотография моего папы. Кроме того, все эти люди получили тогда большие денежные премии.

Осенью 1938 года папу вызвали в НКВД, продержали его там целый день, с утра до трех часов ночи, но... выпустили. Его не били, только называли «польской мордой». Следователей интересовали братья Павла Владимировича: дядя Алексей, дядя Федя и дядя Шура Сошинские, которые вместе с белыми ушли из Крыма в Турцию. Мама рассказывала, что отец, вернувшись домой под утро, плакал и тогда ничего никому не рассказал. Услышала я от него об этом случае только в конце 80-х годов.

Еще одна встреча с сотрудником НКВД произошла у папы в начале войны. Вот как он рассказывал об этом:

«...В октябре 1941 года в Москве началась паника. 16-17 октября все начальство шахты, на которой я работал инженером-энергетиком, разбежалось. Из всего инженерного состава остался на шахте только я один. Это как раз был день зарплаты. Рабочие требовали денег. Я открыл кассу, взял мешок денег и стал эти деньги раздавать. Каждый рабочий по-честному брал столько, сколько ему полагалось. Среди дня позвонили из Управления Метростроя и приказали затопить шахту. Я собирался выполнить приказ, но решил проверить, не остался ли кто-нибудь внизу. Решил сам спуститься вниз и нашел там двух женщин-рабочих, которые ждали, когда же их поднимут наверх. Я подумал, что, может быть, в шахте есть еще какие-то люди, и потому принял решение не выполнять приказание и шахту не затапливать. Заколотив досками вход в спуск, я ушел.

Когда утром следующего дня я вернулся на работу, то увидел, что за моим столом сидит незнакомый мне человек. Он показал удостоверение сотрудника НКВД и приказал идти с ним. Я понял, что моя песенка спета.

НКВДешник привел меня в соседний дом, где в пустой комнате велел сесть за стол. Затем подвинул ко

мне бланк допроса, дал ручку и велел на этом бланке подробно описать все, что происходило на шахте. И главное — о том, кто давал приказ о затоплении шахты. Положив на стол передо мной пистолет, НКВДешник молча вышел из комнаты. Я, конечно, испугался, но взял себя в руки и все подробно описал. Только не назвал фамилии звонившего, якобы он не назвался, хотя я отлично знал, кто звонил. Я долго сидел и ждал, когда за мной придут. Наступил вечер, никто не появлялся, пистолет так и лежал передо мной, хотелось есть и курить. Он вернулся, когда стало совсем темно. Прочитав мои показания, он так же молча махнул рукой на дверь, дескать, уходи. И я ушел. Так и не понимаю: зачем он положил на стол передо мной пистолет?»

Папина сестра МАРУСЯ закончила педагогический техникум с дипломом воспитателя детского сада. Маруся была спокойной, доброй девушкой, склонной к полноте. У нее было очень милое лицо, красивые голубые, как у Павла Владимировича, глаза и длинная коса, до талии, которую она никогда не стригла. Маруся была очень чувствительной натурой. Она любила читать sentimentальные стихи из поэтического сборника, который был и настольной книгой бабы Лизы. Всякий раз,

читая любимое стихотворение, Маруся пускала слезу. И всякий раз, когда мы провожали ее из Москвы в Симферополь, она плакала горячими слезами.

В начале тридцатых годов Маруся приехала в Москву в надежде найти работу и жить рядом с любимым братом. Работу найти было трудно, зато нашелся некий молодой человек, с которым у Маруси начался бурный роман. Баба Лиза узнала об этом и, бросив все дела в Симферополе, приехала в Москву, якобы для того, чтобы повидаться с Алешей, на самом деле для того, чтобы увидеть Марусиного избранника. Избранник ей категорически не понравился, и она заставила Марусю, которая была чрезвычайно послушной дочерью, забыть романтические глупости и вернуться домой. Маруся подчинилась маме и в результате, не встретив в дальнейшем человека, который пришелся бы ей по душе, осталась одинокой. Больше никто, никогда не нравился ей настолько, чтобы она захотела связать с ним свою судьбу.

Во время войны Маруся работала уборщицей в столовой, в которой питались немцы и румыны. Какой-то румынский офицер влюбился в Марусю, да так сильно, что при отступлении стал умолять ее уехать с ним. Он пришел к бабе Лизе и даже встал перед ней на колени,

упрашивая строгую маму отпустить с ним дочь. Но ему не удалось уговорить Елизавету Прокофьевну: та, конечно, боялась отпускать Марусю в неизвестность, а главное, не желала с ней расставаться. Надо сказать, что, когда влюбленный румын пришел прощаться и заплакал, сердце Маруси дрогнуло, она тоже плакала, но пожалела маму, которая осталась бы в Симферополе совсем одна. И так Маруся во второй раз отказалась от семейного счастья.

Война закончилась, жизнь вошла в обычное русло. Маруся снова стала работать в своем детском саду.

В Симферополь вернулась из эвакуации семья внучатой племянницы бабы Лизы, Нины Васили. Довольно скоро мужа Нины, пожилого, больного человека, арестовали по какой-то политической статье, и в тюрьме он умер. Нина осталась без средств к существованию, с двумя маленькими девочками-близнецами Аллой и Лидой. Ей кое-как помогали жить многочисленные родственники. Спустя некоторое время Нину тоже арестовали, девочек должны были забрать в детский дом, но родственники собрались и решили оставить девочек у себя. Их разлучили, взяли в два семейных дома. Одним из этих домов был дом моей бабы Лизы. Бабе Лизе и Марусе досталась девочка Лида. Так у Маруси,

у которой не было своих детей, появилась дочка. Приемная. Девочки росли. Когда Нина Василю вернулась из ссылки, то она забрала Аллу и Лиду к себе, но, прожив с ней совсем недолго, девочки попросили разрешения вернуться в свои новые семьи. С Ниной они жить не смогли.

Маруся воспитала такую же добрую и трудолюбивую девушку, какой была сама. Лида очень рано вышла замуж и только тогда уехала от Маруси. Она оказалась благодарным человеком, всю жизнь поддерживала свою приемную мать.

Каждую осень, к дню рождения папы, Маруся приезжала в Москву повидаться с нами и приодеться, она очень любила новые наряды, но всегда покупала в магазине «Богатырь» одно и то же — длинный прямой сарафан из тонкой шерсти и белую шелковую блузку строгого покроя. А еще она должна была исполнять всяческие поручения из ее детского сада. Однажды она искала по всей Москве настоящий, небольшой барабан. И нашла.

Маруся каждый раз привозила из Крыма огромный букет хризантем, укутанный в марлю, и две трехлитровых бутылки, одну с компотом, другую с вареньем из белой черешни, сдобренной лимонными корочками и ва-

нилью. Узнав о приезде Маруси, к нам сбегались наши друзья, все очень любили чебуреки, которые делала Маруся, и ее фантастическое варенье из белой черешни.

ДЕДУШКА МАТВЕЙ, БАБА ИРА, ТЕТИ НАДЯ И ЛИДА, КЛАВДИЯ

Семья моей мамы, Клавдии Селезневой, жила в городке Бутурлиновка Воронежской губернии. Отец мамы, МАТВЕЙ АНФИНОГЕНОВИЧ СЕЛЕЗНЕВ, был очень красивым мужчиной. У него было благородное лицо правильной формы, густые брови, прямой красивый нос, большие серые глаза в густых, темных ресницах. По рассказам мамы, дедушка Матвей был очень добрым, мягким человеком и весьма уважаемым членом бутурлиновского общества. Он владел магазином по продаже и мастерской по ремонту швейных машин и часов. Дед Матвей, бывало, играл по вечерам с тремя своими друзьями в карты и шахматы. В 1929 году его арестовали как участника заговора. Арестовали еще двух его друзей, а один из четырех друзей остался на свободе. Сначала дед жил на поселении где-то в Поволжье, там были вполне сносные условия, и баба Ира даже ездила к нему. Но потом деда отправили на Соловки, откуда он вернулся в 1932 году совсем больным. У деда

обнаружился туберкулез. Селезневым удалось наскреести немного денег, и они переехали в город Козлов, где купили комнату. В Козлове дед Матвей стал работать часовым мастером. Затем Селезневые переехали в Подмоскowie, в Красково, чтобы быть ближе к старшей дочери. Бабушки к этому времени уже умерли, и семья — дед Матвей, баба Ира, Надя и Лида — разместилась в трех малюсеньких комнатках крошечного деревянного дома. В этом доме в начале 1941 года дед Матвей и умер.

Мама моей мамы, ИРИНА НИКОЛАЕВНА СЕЛЕЗНЕВА, высокая, стройная дама, была владелицей шляпного магазина. Она одевалась очень изысканно и, чтобы не отставать от моды самой и диктовать моду своим заказчицам, каждую весну ездила в Варшаву одеваться, к тому же она привозила из Варшавы в Бутурлиновку последние модели шляп. Вероятно, баба Ира обладала прекрасным вкусом, об этом можно было судить по двум деталям ее туалета, которые долгие годы хранились как реликвии у моей мамы. Это были большой воротник и манжеты из тончайшей шерсти цвета слоновой кости с поразительно изящной вышивкой шелком цвета молодой листвы. На двух сохранив-

шихся фотографиях видно, что у молодой бабы Иры были густые, пышные волосы. Я помню ее очень высокой, очень прямой, страшно худой, постоянно с какой-то извиняющейся улыбкой, всегда в чем-то сером, с коротко стриженными прямыми волосами, которые она прихватывала на затылке полукруглым костяным гребнем.

При всех своих явно деловых качествах семейство Селезневых было вполне интеллигентным, делалась годовая подписка на интересные журналы и газеты, выписывались книжные новинки. Матушка Ирины Николаевны, то есть моя прабабушка, любила заниматься лепкой, она лепила из пластилина крошечные, с мизинец, фигурки реальных людей и добивалась в них удивительного портретного сходства.

Вся семья Селезневых состояла из семи человек. Это были: Матвей Анфиногенович, Ирина Николаевна, две их мамы и три их дочери: Клавдия, Надежда и Лидия.

У старшей дочери, КЛАВДИИ, с детства был властный нрав, она, пользуясь своим старшинством и мягкими характерами Нади и Лиды, командовала ими с раннего детства. Мама честно признавалась мне, ког-

да я уже повзрослела, что училась она посредственно, от домашней работы отлынивала, перекладывая ее на сестер, для того чтобы усесться где-нибудь с книжкой, потому что больше всего на свете она любила читать. До революции она успела четыре года проучиться в гимназии, а после установления советской власти —

«...прослушала полный курс 2-ой Советской Школы 2-ой ступени и весной 1921 года успешно сдала все причитающиеся по курсу зачеты, что подписями и приложением печати Бутурлиновского Городского Отдела Народного Образования и удостоверяется — Председатель Школьного Совета А. Модестов».

После окончания школы Клавдия устроилась работать в Губком секретаршей, где и получила свою первую зарплату — 900 миллионов рублей.

Клавдии Селезневой удалось поступить в Воронежский университет на биологический факультет. Когда она уже была на третьем курсе, один из бутурлиновцев, горбун Аввакуменко, решил сделать на праздничной демонстрации бутурлиновскую колонну. Клавдия Селезнева закапризничала, сказала: «Не хочу!», и вслед за ней отказались все остальные. Колонна не была создана. Но горбун отомстил. Он написал куда надо, что Селезнева — дочь торговца и не имеет права на бес-

платное обучение. При первой же чистке К. Селезневу выгнали из университета.

Мама вернулась в Бутурлиновку, а оттуда поехала в Москву к друзьям, которые помогли ей сделать московскую прописку. К этому времени дед Матвей смог заработать немного денег, которых Клаве хватило на то, чтобы купить шестиметровую комнату в коммуналке, в полуподвале на Бутырском валу.

В Москве Клавдия нашла работу в детском саду ВЦИКа, при этом она поступила в Педагогический техникум и, проучившись там два года, закончила его —

«...по Дошкольному отделению, прослушав Естествознание, Анатомию, Физиологию, Гигиену, Педологию и Рефлексологию, Историю Классовой борьбы, Теорию исторического материализма, Языковедение, Введение в Технику, Историю Педагогики, Игры, Музыку и Пение, Ритмику, Изо и Ручной Труд. Сдав все установленные зачеты и выполнив дипломную работу, признана вполне достойной квалификации — руководительницы для детей дошкольного возраста.

Четыре подписи и печать.

РСФСР Наркомпрос Центральный Опытнo-Педагогический Техникум.

Сентябрь 27 дня 1928 года».

Работа в детском саду, очевидно, Клавдии Селезневой нравилась, она даже написала научное исследование о роли цвета в детских рисунках. При этом она окончила чертежные курсы, а по вечерам ходила в группу по изучению английского языка или на каток.

Летом 1930 года детский сад, в котором работала Клавдия Селезнева, выехал в Крым. В один из своих выходных дней Клавдия пошла посидеть у моря, где и познакомилась с Алешей Сошинским.

Моя тетя НАДЯ была художницей, хорошей художницей. Она была очень похожа на отца, тот же благородный овал чуть удлинённого лица, тот же прямой нос, те же выразительные серые глаза в густых ресницах. И та же доброта. Она всегда была очень просто, но очень элегантно одета. Я помню ее работы, которыми она зарабатывала на жизнь, это были росписи масляными красками по шелку. Она пережила какой-то неудачный роман. Ее семьей стала наша семья. Она очень любила меня и потому баловала, часто приезжала к нам, чтобы погулять со мной, всегда привозила мне какой-нибудь подарок. До сих пор помню пластмассовую куклу-негрятенку с курчавыми черными волосами, которую Надя назвала Топси.

Надя заразилась туберкулезом от деда Матвея и в 1940 году умерла.

Моя тетя ЛИДА была самым добрым человеком на свете, добрее нее я в жизни никого не встречала. Будучи очень миловидной, даже красивой, она была чрезвычайно робким, крайне неуверенным в себе, застенчивым, щепетильным и деликатным существом. Она закончила чертежные курсы и всю жизнь работала надомницей-копировщицей. В 1939 году у Лидочки родился сын Станислав. Брак ее нельзя было назвать удачным. Муж Лидочки Борис Рождественский был красив, весьма неглуп, но работал простым электриком, поскольку учиться ему не пришлось, потому что он был из семьи священнослужителя. К сожалению, он сильно пил.

Когда началась война и многие люди уезжали из Москвы, Лидочка выбрала самое неудачное место для эвакуации. Она с бабой Ирой и маленьким Стасиком поехала к родственникам Бориса в Краснодар, который вскоре был занят немцами. Лидочка с мамой и сыном почти из милости жила у родственников мужа, но и у тех наступило безденежье. Никаких денег от Бориса, разумеется, быть не могло, и Лидочка продала все, оставив только самую скромную одежду, чтобы было чем прикрыть на-

готу. Продали и единственную драгоценность, оставшуюся у бабы Иры от прежней жизни, — золотое кольцо с александритом, которое баба Ира мечтала оставить мне в наследство. Лидочка, стараясь хоть как-то накормить мать и сына, сама голодала. От голода у нее так опухли ноги, что никакая обувь ей не годилась, хорошо, что родственник отдал ей свои старые башмаки.

Именно в Краснодаре немцы впервые применили «душегубки». Днем на улицах немецкие солдаты устраивали облавы. Они сгоняли прохожих в крытые машины, плотно запирали их двери и, пока машины ехали, в них выпускали газ и за городом из машин выбрасывали трупы. Однажды Лидочка попала в такую облаву. Она понимала, что это конец. В отчаянии она прислонилась к забору, забор покачнулся, и она увидела слева от себя какую-то щель, это чуть приоткрылась незапертая калитка. Лидочка протиснулась в щель, заперла засов и так спаслась.

Когда Лидочка вернулась из эвакуации в Красково, то Бориса там не было. Его почему-то не взяли в армию, он сошелся с какой-то женщиной, возвращаться в семью не собирался, и денег на содержание жены и сына у него не было. Конечно, моя мама, несмотря на ограниченность наших доходов, старалась хоть что-то уделить маме и сестре. Но Лидочка быстро устроилась работать чертежни-

цей-копировщицей, и, поскольку она была очень хорошим и исполнительным работником, работы у нее было много.

Вскоре после возвращения из Краснодара баба Ира умерла. Похоронили ее на кладбище в Красково в могиле деда Матвея и Нади. Один раз мама ездила со мной на их могилу. Когда я выросла, я пыталась ее найти, но мне это не удалось.

АЛЕКСЕЙ И КЛАВДИЯ

Летом 1931 года детский сад, в котором работала руководительницей Клавдия Селезнева, выехал в Крым. Отработав свою смену, Клавдия часто выходила на пляж. Так она вышла и в тот день, когда счастливый случай спас ее от смерти.

В конце лета 1931 года Алеша и вся компания молодых людей из Глухого переулка вместе взяли отпуск, встретились в Симферополе и поехали в Херсонес покупать. Однажды, когда они играли на пляже в преферанс, Алеша увидел выходящую из моря красивую девушку. Девушка немного прошлась по берегу и уселась около скалы, которая нависала над пляжем так, что давала хорошую тень. Девушка Алеше понравилась (как он рассказывал мне потом, ему понравились ее

ножки), и он подошел к девушке и предложил ей перейти из тени к нему и его друзьям на солнышко. Но девушка не приняла его предложения, сказав, что любит сидеть в тени, потому что на солнце очень быстро обгорает. Алеша вернулся к друзьям и довольно скоро четверо молодых людей подошли к девушке, сидящей на своей простынке под скалой, взяли простынку за четыре угла, подняли девушку с ее вещичками и перенесли к себе.

Возмущенная девушка вскочила, намереваясь убежать, но не успела она обернуться, как за ее спиной раздался жуткий грохот — это обвалился выступ скалы, который давал тень. Глыба рухнула точно на то место, на котором только что сидела красивая девушка.

Так Алексей Сошинский встретился с Клавдией Селезневой. В том же году Алеша и Клава поженились.

Удивительно, что этим молодым людям для такой встречи пришлось ехать в Крым. Дело в том, что в Москве они, вполне возможно, могли часто ходить по одной улице и ездить в одном троллейбусе, поскольку оба жили на Бутырском валу: Алексей в общежитии в доме 28, а Клавдия в своей шестиметровой полуподвальной комнатухе в доме 26.

В этой комнатухе и стали жить молодожены. 22 июля 1933 года в родильном доме имени Грауэр-

мана у молодой пары родилась дочь, которую называли Кирой. В день рождения дочери Алеша принес Клаве белые флоксы. С тех пор в этот день он долгое время дарил жене именно такие цветы.

Первые месяцы жизни новорожденной молодая мама решила провести у своих родителей, которые тогда жили в Козлове, по-новому — в Мичуринске. Потом Клава с Кирой вернулись в Москву на Бутырский, где Киру укладывали спать в бельево́й корзине. Иногда, когда в Москву приезжала Лида и ей на ночь ставили раскладушку, корзину с Кирой приходилось водружать на стол. История семьи умалчивает, почему родители Селезневых решили, что Лида и Надя, как и Клава, тоже должны жить в Москве, хотя у них там не было жилья. Как бы то ни было, но Надя и Лида поселились в Клавиной комнате на Бутырском валу. А Алеша постучался в дверь к Марии Степановне Гуревич. И Мария Степановна приняла у себя Алешу, Клаву и Киру.

БАБА МУСЯ (МАРИЯ СТЕПАНОВНА ГУРЕВИЧ), НИНА, МАРИНА

БАБА МУСЯ была дочерью богатейшего саратовского помещика Емельянова. У Емельянова было шестеро детей — три сына и три дочери. Все дочери — Ольга,

Людмила и Мария — вступили в партию эсеров, стали революционерками, а три брата вступили в черную сотню. Мария и Людмила вели очень активную работу в партии, царское правительство сослало их в Сибирь на какое-то время, затем они эмигрировали в Швейцарию, где встречались с Лениным. Папа вспоминал, что, когда он однажды попросил Марию Степановну рассказать о Ленине, она ответила, что об этом человеке ей вовсе не хочется вспоминать, чтобы не портить себе и всем остальным настроение. Во время сибирской ссылки Мария вышла замуж, ее мужем был некий Гуревич, тоже эсер. Отец Марии проклял ее за то, что она стала женой иудея. Проклял и лишил наследства. Он не захотел знакомиться с зятем. А когда у Марии и Гуревича родилась дочь Наташа, Емельянов-старший даже не пожелал повидать внучку. К сожалению, Гуревич заболел чахоткой и вскоре умер.

В конце двадцатых годов, во время учебы Алеши Сошинского в институте, кто-то из друзей познакомил его с Наташей Гуревич, и он подружился не только с Наташей, но и с Марией Степановной и стал часто бывать у них в доме. Постепенно в этом доме стали бывать и Алешины друзья. В квартире на Краснопролетарской улице, кроме Марии Степановны и Наташи, жили еще

две молоденькие, интеллигентные барышни, племянницы Марии Степановны — Нина и Марина Мазурины, дочери жившей в Ленинграде двоюродной сестры бабы Муси.

Так образовалась веселая компания молодых людей почти одного возраста. Позже говорили, что с кем-то из этой компании у Наташи был тайный роман, строились всяческие предположения, но никто ничего точно не знал. Тайна так и осталась тайной. А веселая жизнь этих молодых людей была прервана самым трагическим образом. Вестником трагедии стал Петр Степанович Емельянов, брат Марии Степановны, который, освободившись из заключения, приехал в Москву и поселился на Краснопролетарской в комнатке для прислуги. В один злосчастный день он зашел ранним утром в ванную и выбежал оттуда со страшным криком.

Наташа Гуревич покончила жизнь самоубийством. Она повесилась в ванной. Ей было 18 лет.

Мария Степановна поседела в один день.

Баба Муся была невысокой женщиной довольно плотной комплекции. Двигалась она медленно, никогда не смеялась, лишь изредка позволяла себе улыбнуться. Стриглась коротко, придерживала на затылке легкие,

прямые, абсолютно белые волосы, гладко зачесанные назад, круглым, по форме головы, черепаховым гребнем. У нее было благородное, чуть удлиненное лицо, резко очерченный нос, острые скулы, веки, набрякшие над глазами (почти с азиатским разрезом, что не удивительно в саратовских степях). Баба Муся всегда была ровной в поведении, была ласковой и доброжелательной, никогда ни на кого не повышала голос. Зимой она носила длинные, свободные, темные платья, летом на ней всегда была белая панاما и светлые платья тоже свободного покроя. Она любила Алешу Сошинского, была вежлива с его женой Клавой и обожала маленькую Киру, которую называла Киренок. А Киренок обожала бабу Мусю.

Удивительны судьбы трех сестер. Мария пережила ссылку, проклятие отца, болезнь и смерть мужа, гибель дочери. Она все это выдержала, но потому и жила без улыбки, при этом никогда не жаловалась и не просила ни от кого жалости. Только всегда была грустной. Жизнь ее так сложилась, что в последние годы этой жизни семьей Марии Степановны стала наша семья.

Сестра Людмила почти всю жизнь провела в ссылках, то в царской, то в советской. Детей у нее не было.

Перед самой войной ее освободили, но она прожила на свободе не больше месяца, и ее снова арестовали и снова отправили в ссылку. Во время войны баба Муся, когда и самой-то нечего было есть, как-то умудрялась отправлять Людмиле посылки. Когда Людмилу в очередной раз освободили, она приехала на Краснопролетарскую, и, поскольку в комнате у бабы Муси в то время жили мы втроем — папа, мама и я, то Людмиле Степановне пришлось спать в передней на том самом большом сундуке, который мне когда-то так хотелось открыть. На Краснопролетарской Людмила Степановна прожила совсем недолго. Она, видимо, решила, что ей в Москве не удастся найти жилье, а может быть, она боялась еще одного ареста, и потому она уехала обратно в Караганду, где вскоре и умерла.

Третья сестра Ольга погибла в Ленинграде во время блокады, погибла и ее дочь. Сиротой осталась выжившая каким-то образом внучка Ольги, тоже Ольга.

Племянница бабы Муси НИНА МАЗУРИНА была тихой, деликатной, хорошо воспитанной женщиной. У нее было не блещущее красотой, но очень приятное лицо, пушистые, чуть выющиеся русые волосы, тихий, спокойный голос. Она работала в какой-то архитектур-

ной мастерской. Незадолго перед войной неожиданно для всех Нина вышла замуж за Корфа. Впрочем, это был не просто Корф, а барон Корф. У Нины и Корфа родилась дочка Надежда. Когда началась война, Корф сразу же пошел воевать. Однажды ему дали отпуск от войны на целые сутки, и он приезжал домой. Но вскоре он был смертельно ранен. А Нина родила мальчика, барона Николая Корфа. Зарабатывать деньги и растить двоих детей без чьей-либо помощи Нине, конечно, было трудно. И ей очень помогала сестра, Марина, которая не ходила на работу, поскольку работала дома. Кажется, она делала какие-то переводы.

МАРИНУ МАЗУРИНУ, вторую племянницу бабы Муси, все называли красавицей. Все — кроме меня. Я считала, что у настоящих красавиц не должно быть (почти всегда) недовольное выражение лица. Правда, когда Марина играла со мной, она становилась совсем другой. У Марины были густые черные брови, и она красила губы ярко-красной помадой. Она часто накидывала на плечи большой платок с кистями, черный, в красных розах. Разделив свои длинные черные волосы ровненькой белой дорожкой, она заматывала их в тяжелый пучок, который висел у нее на шее под затылком.

Со мной Марина всегда была очень ласковой, и когда мы с ней играли, например, в «ладушки» и «хлопушки», она веселилась и даже хохотала, как маленькая.

В те дни во время войны, когда мы жили у бабы Муси, к Марине стал приходить в гости морской офицер. Почему-то Марина ни с кем его не знакомила и даже просила во время его визита не выходить в переднюю и не подходить к двери ее комнаты. Один раз, услышав звонок, я все-таки прошла мимо передней в ванную, нарочно, и увидела высокого, красивого, довольно молодого военного в черной шинели, он только что вошел и собирался снять шинель. В этот же вечер из Мариной комнаты раздавались громкие голоса, а потом стало слышно, что Марина громко плачет. Наутро, когда все собрались в кухне, чтобы готовить завтрак, Марина объявила, что капитан больше приходить не будет, потому что она ответила отказом на его предложение выйти за него замуж и уехать с ним куда-то на север. Все в недоумении молчали, но баба Муся все-таки попросила объяснить, почему Марина так поступила. И со слезами на глазах Марина сказала, что она не сочла для себя возможным предать сестру, оставить ее с двумя малышами без помощи. Прошел еще год, и в Ленинграде, в детском доме нашла внучка Ольги,

тоже Ольга. Марина съездила в Ленинград и удочерила ее. Всем бросилось в глаза, что Ольга оказалась очень похожей на свою приемную мать Марину.

Зимой сорок четвертого года до конца войны было еще далеко, а в квартире на Краснопролетарской шла мирная дружная жизнь. Часто по вечерам все соби-
рались в комнате у Нины, потому что это была самая большая комната квартиры. И тогда Колечкину кроватку ставили к Марине. Мама приносила свое вязание. Она еще в Абакане научилась вязать и теперь, распустив старые шерстяные кофты, вязала детям теплые вещички. Марина, которая любила читать, читала вслух, с выражением, разные книжки. Я, если не занималась своей музыкой или уроками, тихонькой играла с Надеждой. Но больше всего я, да и не только я, любила купание нашего малыша. Ванная комната у нас была очень просторная, всем места хватало. Баба Муся держала в руках свечку и спички. Это было нужно на случай отключения электричества, что случалось довольно часто. Марина владела градусником и постоянно измеряла температуру воды в ванночке, в которой раньше купали Надежду. Нюра носила в большой кастрюле горячую воду, которая грелась в кухне. Колечка очень

любил купание, он быстро научился шлепать ручками по воде и брызгаться. Он страшно веселился, и все веселились, глядя на него. Но все веселье прекращалось, когда его вынимали из теплой водички и завертывали в большое махровое полотенце, тут он поднимал дикий рев, и ничто не могло его успокоить. Только один человек умел утихомирить маленького Корфа. Это был мой папа. Обычно папа приходил с работы довольно поздно, и тогда приходилось позже укладывать крикуна. Коля замолкал, когда мой папа начинал петь ему тихую песню, это не обязательно должна была быть колыбельная, это мог быть и какой-нибудь романс, важно, чтобы пел именно мой папа. Если колыбельную пел кто-нибудь другой, Коля продолжал кричать. Но стоило ему услышать голос моего папы, как он мгновенно замолкал, не закрывая глаз, слушал колыбельную, успокаивался и засыпал.

И в доме наступала тишина.

* * *

Я решила написать о людях, которые в начале моей жизни одарили меня любовью. Мне кажется, что тепло этой любви согревало меня не только в детстве, но и в последующие годы.

Давно уже нет на земле почти всех героев моих рассказов. Но мне хотелось напомнить об этих спутниках моей жизни, продлить их существование хотя бы тем, что кто-то прочитает о них, подумает о том, какая непростая досталась им судьба и какой заряд доброты и терпения изначально заложен в каждом человеке.

Часть вторая

БЫЛИ - НЕБЫЛИ

НУЖНО, ЧТОБЫ В ДОМЕ ВСЕГДА БЫЛО МОЛОКО

После обеда началась гроза. Шел дождь, гремел гром, небо затянуло тучами, и мы не пошли к морю, а остались дома. Алиса читала очень интересную книгу, которую взяла в библиотеке, — «Приключения пана Кляксы», и даже радовалась, что идет дождик, а то на пляже не очень-то считаешь.

Дождь шел долго, часа три. Гроза кончилась, гром гремел где-то вдалеке, и дождик был не такой сильный, как вначале. И как раз когда дождик кончился, из города приехала тетя Аустра. Она очень обрадовалась, что прошел такой сильный дождь, это значило, что ей не придется поливать из шланга сад и огород.

Трава в саду была мокрая, и деревья были мокрые, и с веток на тетю Аустру, должно быть, падали холодные капли, когда она пошла кормить Дика.

Дик у нас очень красивый. Он весь рыжий, только вокруг глаз черные пятнышки, будто оправа очков, да на лапах черная шерсть, как черные тапочки. Своих Дик, конечно, не трогает и, наверное, уже знает, что

мы — свои, но все-таки днем его держат на цепи. Дик очень красивый и такой сильный, что в прошлом году несколько раз срывался с привязи. Поэтому тетя Аустра построила для него специальную загородку. Так что если Дик снова сорвется с цепи, то уж через загородку ему не перепрыгнуть, она высокая.

Но все-таки надо же дать собаке хоть когда-нибудь побегать. Поэтому перед ужином тетя Аустра выпускает Дика из загородки. Только сначала предупреждает нас об этом. Чтобы мы случайно не вышли из дома. Дик, конечно, уже хорошо знаком с нами, вчера, например, мы его кормили копчушкой, а позавчера даже вкусной колбасой, но все-таки лучше посидеть дома, а то он носится по саду, как сумасшедший. Сначала Дик очень быстро бегают, потом немножко успокаивается и начинает бегать помедленнее и чего-то вынюхивать, потом находит свою травку, поест ее и только после салата идет есть ужин, который ему уже приготовила тетя Аустра.

И вот сегодня Дика выпустили. Он промчался вокруг дома, потом сделал один круг вдоль забора и, начав второй круг, неожиданно остановился у сарая. Дик постоял-постоял и начал громко лаять и рыть под стенкой сарая землю. Алиса отложила своего пана Кляксу и высунулась в окошко.

Дик так быстро копал землю, что скоро уже почти половиной туловища забрался в ямку под стенкой сарая.

— Тетя Аустра, — закричала Алиса, — а Дик под сарай лезет!

— Нишего, там есть, наверное, соседский кошк, — ответила тетя Аустра, — пускай Дик его прогонять.

А Дик уже весь забрался под сарай, потом выскочил оттуда и, упершись передними лапами в землю, стал лаять. И повторил это несколько раз — под сарай — обратно — и — лаять. Тут тетя Аустра все-таки решила посмотреть, отчего же Дик так нервничает. И в этот момент Дик вылез из-под сарая. Он что-то держал в зубах. Тетя Аустра крикнула какое-то слово по-латышски, но Дик не обратил на нее внимания и отбежал в сторону. Тетя Аустра побежала за ним, но Дик все-таки моложе нее и сильнее, к тому же он несея прямо по грядкам, по цветам. Тогда и тетя Аустра помчалась по грядкам, по цветам и закричала, наверное: «На место!»

Тетя Аустра кричит, а Дик не слушается. Тут Алиса говорит:

— Ну, мамочка! Ну, я тебя прошу! Можно я помогу тете Аустре догнать Дика, пожалуйста.

Но тете Аустре все-таки удалось самой загнать Дика в загородку, и она тут же крикнула нам:

— Идись здесь смотреть.

Мы подошли и в углу сада увидели под яблоней ежика. Ежик вытаращил все свои иголки и быстро-быстро дышал. Вот, значит, кого Дик вытащил из-под сарая.

— Он не хотел отдавать, — говорит тетя Аустра. — Я ему говорил: «Отдай», а он не отдал и бегать, я его не мог поймать, я боялся Дик исколется иголкой и порвет ежика. Тоже жалко. Еле уговорил Дик положить ежика.

А ежик вдруг перестал дышать, и мы в ужасе решили, что он умер от испуга. Но довольно скоро ежик снова задышал. И Алиса сказала, что просто у ежика было сильное нервное потрясение.

Дик, высунув язык, бегал за своей загородкой, как дикий зверь. Тетя Аустра сказала, что он, набегавшись, наверняка хочет пить. Мы принесли Дику целое ведро воды, и он почти сразу выпил всю воду. А Алиса говорит:

— Конечно, об этом разбойнике позаботились, а бедный ежик-тихоня тоже хочет пить, да к тому же еще и голодный.

Мы пошли в дом, чтобы принести оттуда ежику молока, но оказалось, что молока-то у нас как раз и нет. Тогда мы взяли деньги и пошли в магазин за молоком.

Мы быстро вернулись, налили молоко в блюдце и понесли блюдце с молоком ежику под яблоню. Только ежика там уже не было.

— Не расстраивайся, Алыс, — сказала тетя Аустра. — Значит, ежик жива-здоров, и она пошла к себе домой.

ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ

Солнце опускалось с голубого неба прямо в темные, синие тучи, которые собрались слева над морем.

— Ты живешь здесь пятый день, а я в Каугури старожил и при этом хорошо помню, что когда вечером солнце садится в облака, то завтра обязательно будет дождик, — сказала Алиса.

— Ну, и пусть завтра будет дождик, — ответила я, — тогда мы поедем в Ригу.

— А если поедем в Ригу, то обязательно пойдем в Исторический музей, а еще ты купишь мне мороженое, — сказала Алиса.

Так мы и сделали. Позавтракали и поехали в Ригу.

Только мы вышли из вокзала на площадь, как сразу же начался дождь. У Алисы был с собой плащ, а у меня плаща не было, и мы решили, что надо зайти в универмаг и купить мне плащ или зонтик. Плащи были только красного цвета, а я красное не ношу. Зонтики были разные, но все некрасивые. Алиса уговаривала меня купить зонтик в малиновую полосочку, но я почему-то вместо зонта купила черную соломенную шляпу

с огромными полями. Потом внизу, на первом этаже, мы съели по шоколадному мороженому, и пока мы его ели, дождик перестал, и мы пошли гулять по Риге.

Сначала мы зашли в книжный магазин, где продавалось множество прекрасных детских книжек с замечательными картинками, но книжки эти были на латышском языке. На русском была только «Капитанская дочка» в простом коричневом переплете и без картинок. Пришлось купить эту «Капитанскую дочку».

Потом мы пошли в магазин для художников, где была устроена чудесная выставка. На стенах висели симпатичные глиняные человечки с рожками и цветочками в волосах. Один такой человечек назывался «Царь чертей», а несколько других без рожек, а только с цветками, составляли целую картину, которая называлась «Рай». Около некоторых скульптур висела бумажка с каким-то латышским словом, вроде «АБРДЖ». Мы сначала решили, что это фамилия художника, но около «Рая» был еще маленький листочек с надписью «500 р.» и тогда мы сообразили, что «АБРДЖ» означает «Продано». И хорошо, что ПРОДАНО, подумала я, а то у меня не нашлось бы столько денег.

Мы шли, не торопясь, по старой Риге, и вдруг опять пошел дождь. Я вспомнила, что недалеко должно быть

уютное кафе, мы его быстро нашли и спрятались там от дождя.

Окна кафе были прикрыты сиреневыми занавесками, под потолком горели электрические, но как будто керосиновые, лампы с лиловыми стеклами, и из-за таких занавесок и таких ламп казалось, что уже вечер.

Мы с Алисой заказали по одному только шарик у малинового мороженого и по чашке кофе. Мы ели мороженое и всё поглядывали, приоткрывая занавеску, на улицу, но дождь никак не кончался. Люди, у которых были зонты, шли очень быстро, а те люди, на которых были надеты плащи, даже бежали.

За соседний столик сели два молодых человека, латыш и русский. Латыш сказал, что ничего пить не будет, потому что принципиально не пьет «Плиску», а русский заказал 150 грамм коньяка и два кофе.

Официантка долго ничего не несла нашим соседям, и вдруг латыш сказал:

— Давай перебежим в кафе напротив, там хоть есть «Бальзам», он, правда, тоже противный, но все-таки не «Плиска».

И молодые люди встали и ушли.

Алиса очень заволновалась, сказали они официантке, что уходят, или не сказали. И тут как раз подошла

официантка, у нее на подносе стояли три маленьких рюмки с коньяком и две чашки с кофе. Официантка удивленно смотрела на опустевший соседний стол.

— Они ушли в кафе напротив пить «Бальзам», — сказала официантке Алиса.

Официантка очень расстроилась. Алиса тоже расстроилась. Но мы уже покончили с нашим мороженым и решили выйти и посмотреть, такой ли уж сильный дождь.

Мы вышли из кафе и сразу поняли, что дождь пока еще довольно сильный. Алиса стала уговаривать меня перебежать площадь, не обращая внимания на дождь, и нырнуть в Домский собор, а я боялась, что мы промокнем. Мимо нас прошли две молоденькие девушки без плащей и без зонтов. Девушки сняли туфли и шли босиком, разбрызгивая воду в лужах. И тут мы с Алисой решили, что тоже можем разуться и пробежать в собор под дождем. Так что мы перебежали площадь и пошли в Исторический музей, расположенный в Домском соборе.

Сначала мы попали в Музей мореходства. Весь этот музей размещался в одной большой комнате, которая была наполнена всевозможными морскими предметами.

Там были:

- Деревянное чудовище, украшавшее в XIII веке нос галеона.
- Бутылка с кораблем и пристанью внутри нее.
- Пила рыбы-пилы.
- Лаги, которые отмеряли морские мили.
- Полинезийская пирога, сделанная моряком-золотые-руки из китового уса.
- Модель парусника XVII века с просмоленными парусами.
- Настоящий прожектор с настоящего маяка.
- Настоящий чугунный якорь.
- Маленький парусник из настоящего перламутра.
- Компас начала XIX века.
- Модель торгового судна периода Первой мировой войны.

И много других интересных вещей.

Обо всем этом Алиса читала объяснения, написанные на двух языках — сверху на латышском, внизу (поменьше) на русском.

Потом мы перешли в Исторический музей, где оказалось очень скучно. Все, что висело на стенах и лежало под стеклами в витринах, относилось к современности и к войне. Это были тусклые фотографии и

многословные тексты. Не было никаких старинных или удивительных экспонатов, которые хотелось бы рассматривать.

Наконец мы оказались в почти пустом зале, где увидели большой, старинный, очень странный шкаф. Он был выше человека на одну человеческую голову и шире, чем ширина раскинутых рук Алисы. Внизу, до уровня Алисиного плеча, были две дверцы, сделанные из светлого, драгоценного дерева, вверху шкаф был стеклянным. За стеклом был виден сложный механизм, состоящий из валиков, крючочков, молоточков, подпорок, рычагов, шестеренок, зубчиков и винтиков. Над всем этим механизмом, над всеми его загадочными штучками возвышался диск желтого металла диаметром, наверное, чуть меньше метра. На диске черной краской старинными буквами были написаны немецкие слова. Весь диск, будто простреленный мелкими пулями, был в маленьких дырочках, расположенных в странном беспорядке, вернее, в порядке, который кому-то как раз был хорошо известен.

Это было чудо, от которого Алиса просто не могла отойти. Она все внимательно рассмотрела, выслушала от меня все предположения по поводу того, чем бы это могло быть, попыталась было прочесть текст на медной

табличке, привинченной к дверце шкафа, но с сожалением сдалась, поскольку не знала немецкого. Я предложила прочесть обычную бумажную этикетку с подписью опять на двух языках, которую обычно делают музейные работники, где было много слов по-латышски, а в русском тексте была только лаконичная подпись: «Музыкальный ящик». Мне пришлось долго уговаривать Алису двинуться дальше, только очень неудобно было уговаривать ее шепотом, да еще на ухо, ведь в музеях не принято разговаривать в полный голос.

Неожиданно дверцы стеклянной витрины, стоявшей напротив загадочного диска, открылись, и из этой витрины вышла только что неподвижно стоявшая там женщина в костюме горожанки XVIII века, которую мы принимали за музейный экспонат.

Горожанка улыбнулась Алисе, вынула из кармана передника затейливый ключ, вставила его в замочную скважину шкафа с золотым диском. Диск покачнулся, стал медленно поворачиваться, и мы услышали прекрасную музыку.

Музыка была нежная, с перезвоном колокольчиков, медленная, задумчивая и очень старинная.

И все люди, которые были в это время в музее, стали подходить к залу, из которого повсюду разносились чу-

десные звуки. Пришли даже старушки-хранительницы, они ради этой музыки покинули свои стулья.

Музыкальный Ящик играл долго, ровно столько времени, сколько понадобилось золотому диску для того, чтобы сделать полный оборот, а диск был большой и вращался он очень медленно. Так что все успели наслушаться удивительных волшебных звуков.

Алиса решила, что обязательно надо поблагодарить артистку, изображавшую горожанку позапрошлого века, которая всем доставила такое удовольствие. Но когда она повернулась к витрине, то увидела, что горожанка стоит неподвижно, за стеклом. Алиса помахала ей рукой и улыбнулась, но на лице горожанки не дрогнул ни один мускул, и она не подняла руки, чтобы ответить Алисе.

Мы с Алисой до сих пор так и не понимаем, кто стоял в витрине напротив музыкального диска. Если это был музейный экспонат — кукла, одетая в костюм древней горожанки, то как же этот экспонат мог заводить диск? А вдруг это была обыкновенная волшебница, которая сама любила послушать старинную музыку?

АЛЛА + ТОЛЯ = ...

До войны мы с мамой жили во Пскове. Я дружила с соседским Толей. Он был старше меня на три года. Он всегда любил музыку, играл на рояле, на аккордеоне, хорошо пел, писал стихи, был очень веселым и, по-моему, самым лучшим мальчиком в нашей школе.

Когда мне было пятнадцать лет, началась война. В августе Толю призвали в армию. Мы попрощались утром, перед его отъездом. Он первый раз в жизни поцеловал меня прямо в губы и попросил писать ему и помнить его до конца жизни.

Я получила от Толи два письма, потом мы с мамой эвакуировались в Ташкент. Я послала Толе письмо с ташкентским адресом, но писем от него больше не было. Кончилась война, я написала Толиным родителям и в псковский военкомат и узнала, что Толины родители умерли, а сам он пропал без вести. Я тогда очень плакала, но почему-то все равно думала, что Толя жив.

Спустя некоторое время я вышла замуж, у меня родилась дочка. Мой муж оказался плохим человеком,

жить с ним мне было трудно, так что не получилось никакого счастья. Когда Ларочке исполнилось два года, мы разошлись. И всегда, всегда я вспоминала Толю и думала, что вот его-то я любила по-настоящему, только прежде этого не понимала.

Прошло много лет. Моя Ларочка выросла, в прошлом году она поступила в Музыкальное училище при Институте Гнесиных, она играет на скрипке. Я так и живу с ней и с мамой, я их очень люблю. Но, говоря по правде, часто бывает довольно грустно, когда подумая, что не встретился мне милый сердцу мужчина, что вот так и пройдет моя одинокая жизнь. Я не люблю ходить в гости к подружкам, не люблю слушать женские жалобы на то, что мужья их не понимают, невнимательны, не помогают. А бывает еще хуже, это когда подруги говорят: «Завидуем мы тебе, Аллка, завидуем твоей свободе и независимости». Дуры, ну и дуры же вы, думаю я, на самом деле никто из вас не поменялся бы со мной.

Однажды мы с мамой стали вспоминать нашу довоенную жизнь, весь вечер вспоминали, и когда я легла спать, то долго не могла заснуть, все думала и думала о Толе. Я по-прежнему не верила, что он погиб. Наутро,

придя на работу, я решила написать письмо Толе на наш старый псковский адрес.

Конечно, это похоже на сказку, но через две недели я получила от Толи ответ.

Он был ранен в самом начале войны, очень тяжело ранен, у него были множественные ожоги. Он так страшно изменился, стал так не похож на себя прежнего, что после того как вышел из окружения, а потом из госпиталя, решил не искать меня. Совсем еще молодой человек стал инвалидом. Долгое время он жил один, потом его приютила какая-то женщина, потом эта женщина стала его женой, и у него тоже родилась дочка. Наверное, эта женщина вовсе не любила его, просто пожалела. Недолго они прожили вместе. Толе пришлось уйти из ее дома. Плохо ему было, очень одиноко, и он решил вернуться в родной Псков.

«Аллочка, я так счастлив, что ты меня нашла. Но только нельзя нам встречаться, пусть я буду для тебя таким же, каким ты помнишь меня до войны. Может, не надо было мне откликаться на твое письмо, а то приходится тебе меня хоронить во второй раз. Не хочу я ни тебя, ни себя мучить понапрасну. Прощай навсегда». Вот так кончалось Толино письмо. «Немедленно приезжай ко мне в Москву, я жду тебя», — тут же на-

писала я Толе. И получила от него телеграмму с датой приезда.

Накануне этого дня мы собрали семейный совет, на котором присутствовала всеми любимая Ларочкина подруга Валюша. Мы должны были придумать, как нам разместиться в нашей хрущевской двушке. Вариантов было не так уж много, и мы быстро решили, что гость будет спать в большой комнате, я буду спать на Ларочкином диванчике в комнате мамы, а Ларочка несколько дней поживет у Валюши.

И вот я собираюсь в аэропорт, сижу на работе перед зеркалом, девчонки делают мне прическу.

Самолет из Пскова опаздывает на целый час. Мне кажется, что это самый долгий час в моей жизни. Потом по радио объявляют, что из-за нелетной погоды самолет задерживается еще на два часа. Я хожу взад-вперед по залу. Присаживаюсь на диванчик. Сидеть не могу. Опять хожу. Выпила томатного сока. Пошла посмотреть на себя в зеркало. Вышла наружу, там сильный ветер и начинается дождь. Вернулась в зал ожидания. Жду.

Я все ходила по залу ожидания и вдруг поняла, что кто-то ходит рядом со мной. Военный, полковник, говорит:

— Вы так волнуетесь, что и я стал волноваться, глядя на вас... Кого же это такого счастливого вы ждете?

Обычно я не могу легко разговаривать с незнакомым человеком, а тут что-то со мной случилось, и я стала рассказывать полковнику свою историю, да так и рассказала всю свою жизнь. Наверное, этот полковник очень хороший человек. Никогда, ни с кем я так не открывалась, никогда не жаловалась, а тут вдруг провало меня, я почувствовала в этом человеке не простое любопытство, а искренний интерес. В этом разговоре мы с полковником провели два часа ожидания. Началась гроза, ветер гнал дождевые струи по стеклу. В зале прилета прибавилось народу. Стало душно, щеки у меня горели. Я замолчала. После странной для меня исповеди я чувствовала какую-то неловкость. Полковник тоже молчал, но пристально смотрел на меня. Чуть погодя он все-таки заговорил:

— Завидую вашему Толе. На мою долю не выпало ничего подобного.

Гроза утихла, и сразу же объявили, что идет на посадку самолет из Пскова. Я выбежала из зала ожидания на улицу и встала у загородки. Самолет долго ездил по полю, мне казалось, что он никогда не остановится. На-

конец самолет успокоился, подали трап, по трапу стали спускаться люди, издали они казались совсем маленькими, и увидеть среди них Толю пока было невозможно. Люди, приближаясь к зданию, стали увеличиваться в росте, но все равно Толи я так и не видела. Подошли самые первые пассажиры, потом толпа стала просачиваться через загородку, а Толи все не было. В толпе промелькнуло чье-то страшное, будто обожженное лицо. Где же мой Толя? Спросила у дежурной, которая сопровождала прилетевших, точно ли этот рейс из Пскова. Да, из Пскова. Я все время смотрела только вперед и вдруг повернула голову назад... и тут же отвернулась. На мокром асфальте, между мной и зданием аэропорта, в одиночестве, стоял тот страшный человек с обожженным лицом. В голове у меня побежали мысли, нет, не мысли побежали, черные птицы полетели по черному небу, нет, не птицы летели, а жидкие мозги мои бились в черепной коробке и заставили меня повернуть голову и глянуть еще раз на ужасного человека, который стоял один на мокром асфальте.

На меня в упор смотрел худющий, сморщенный мужичонка, в обвисшем пиджачке, с фанерным чемоданчиком, к которому брезентовыми ремнями была привязана небольшая гармошка.

— Вы Толя? — издали, не подходя к нему, неуверенно спросила я.

— Толя я, Артемьев, — ответил мужичонка и шагнул ко мне. — Я тебя тоже не сразу узнал, а когда вы второй раз повернулись, и я увидел ваши ямочки на щеках...

— Ну, вот... Ну, вот мы и встретились...

Я взяла его под руку и повела к зданию аэропорта. Мы прошли мимо полковника.

Полковник грыз спичку и грустно смотрел на меня.

Мы ехали в такси, и я изо всех сил старалась, чтобы разговор не кончался, а разговаривать было трудно. Я никак не могла заставить себя обращаться к этому чужому и неприятному мне человеку как к моему Толе. Мне не хотелось говорить «А помнишь?», потому что все, что я помнила, происходило не с ним. И всю длинную дорогу от Внукова до Измайлова было только «Посмотрите направо, посмотрите налево», я надеялась, что это может быть интересно моему гостю.

Мама и Ларочка, конечно, ждали нас. Но я нарочно не стала звонить, открыла дверь своим ключом, чтобы не было встречи в передней. Я первой вошла в комнату, я сжала кулаки и прижала их к груди, я так посмотрела на маму и Ларочку, что они почувствовали что-то

неладное, и когда Толя вслед за мной вошел в комнату, постарались улыбнуться.

С того момента, как я поняла, что этот чужой человек и есть тот Толя, которого я ждала всю жизнь, одна мысль бродила в моей голове: «Скорее бы уехал». Весь первый день Толя вел длинные разговоры с мамой, рассказывал про войну, про Псков, про свою несчастную жизнь. Один только раз он отвлекся от своих рассказов, когда мама предложила ему почитать журналы «Вокруг света», которые мы два последних года покупали и подшивали. Кажется, журналы Толю заинтересовали, и он, погрузившись в чтение, почти замолк, но время от времени делал вполне осмысленные и даже интересные замечания.

На второй день по дороге на работу я устроила его в экскурсию по Кремлю. Я вручила ему карту Москвы, схему метро и снабдила его монетками для телефона-автомата. Наш гость не заблудился. Домой вернулся уже к вечеру, усталый, но веселенький, по-моему, слегка пьяный, он пытался сыграть что-то на гармошке и даже петь, стал рассказывать какие-то глупые анекдоты. Нам всем было ужасно неловко за него. Я все никак не могла понять, как мог этот человек написать мне то трогательное письмо, ведь сейчас казалось, что у него

не только мыслей, но и слов таких не может быть. Когда я приглашала Толю приехать, я и представить себе не могла, насколько трудно будет принять то, что в моем доме будет жить чужой человек, да еще и мужчина.

Странно, конечно, но моментами я ловила себя на мысли о том, что все не так просто, и тот мой Толя никак не мог стать таким, как этот человек. Иногда в его глазах вспыхивало нечто такое, что напоминало мне о глазах настоящего Толи. Но я отгоняла от себя эти мысли.

Назавтра я опять увезла его из дома, чтобы он погулял по Москве, и попросила не пить, а вечером устроила дома прекрасный ужин с коньяком. Не знаю, что подействовало на гостя, то ли теплая атмосфера нашего дома, то ли коньяк, но вдруг его сиплый, запинаящийся голос сменился уверенным, приятным голосом интеллигентного человека.

— А помните, как кто-то написал мелом на асфальте около нашего подъезда: «АЛЛА + ТОЛЯ = ХА-ХА-ХА»? — спросил Толя.

Еще бы я этого не помнила! Как я в тот день разозлилась! А Толя тогда успокаивал меня, он сказал, что это сделал какой-то глупый завистник, который думал, что заставит людей посмеяться над нами, а на самом деле это «ХА-ХА-ХА» соответствовало нашему на-

строению — нам весело, когда мы вместе. Мама тоже не забыла этот эпизод из довоенной жизни. Она напомнила нам, что сильный ночной дождь смыл всю надпись, и утром на асфальте видны были только разводы белой краски. Вообще мама изо всех сил старалась оживить наши вечерние посиделки. Так и этим вечером она включила радиоприемник, и ей повезло, мы услышали повтор передачи «Театр у микрофона». Замечательный артист, чтец Дмитрий Журавлев читал сказку Аксакова «Красавица и Чудовище». Он был великий артист, в его исполнении хорошо знакомая сказка производила сильнейшее впечатление.

В воскресенье я возила Толю по всей Москве, показывала новые и старые районы, что-то рассказывала об архитектуре, я честно старалась развлечь его, чтобы ему все-таки не было скучно у меня в гостях. Не знаю, что он думал на самом деле, но он странно реагировал на мои старания: «Куда нам! Нам этого всего не понять, мы люди серые, образования, как у вас, москвичей, нету».

Что же это такое, думала я, куда делся мой Толя, самый любознательный, живой и умный мальчик нашей школы, как случилось, что все, что было в нем заложено, исчезло, стерлось трудностями жизни...

Вечером, после того как я показала гостю Университет на Ленинских горах, мы остановились на видовой площадке, и я пыталась объяснить ему, какая красивая отсюда Москва. Вдруг, в первый раз за все эти дни, Толя робко погладил мою руку и как-то неловко попытался обнять меня. Было еще довольно светло, и мне стало стыдно, что вот такой... при всех... Потом мне стало стыдно за то, что я отскочила от него. Мне было так плохо, что я чуть не заплакала.

Может быть, Толя обиделся на меня, а может, ему тоже хотелось плакать, только всю дорогу в автобусе он молчал, на меня ни разу не глянул, уставился в окошко. А когда он все-таки повернулся ко мне, то в его взгляде мне на мгновение опять почудилось что-то похожее на тот свет, которым когда-то сияли глаза мальчика Толи.

Мы уже подходили к дому, и тут после долгого молчания он сказал:

— Погостил — и хватит, завтра хочу улететь домой. Пора восвояси.

И я не стала его отговаривать.

Сначала я не собиралась провожать Толю в аэропорт, но потом мне стало совестно (впрочем, совесть мучила меня все эти дни), и я сказала себе, что просто

обязана его проводить. Так что я, отпросившись с работы, позвонила маме, чтобы она предупредила нашего гостя, что я заеду за ним на такси.

Когда Толя отметил свой билет, он подошел ко мне, встал уже за разделительным канатом, и в этот момент я вдруг услышала внутри себя голос сказочника Дмитрия Журавлева. Меня будто током ударило. Я встала на цыпочки и поцеловала Толю в уголок рта.

Я, разумеется, никогда не верила в чудеса, но...

Передо мной стоял статный, красивый, со следами ожогов на лице, немолодой мужчина. Он блеснул голубыми глазами настоящего, моего Толи и сказал:

— Да, да... Я тот самый Толя Артемьев. Как жаль, что ты так поздно это поняла...

Он поправил покосившуюся под ремнем на чемодане гармошку, грустно улыбнулся и пошел к выходу на летное поле.

А ОН ЦИРКАЧКУ ПОЛЮБИЛ

Клоун Алексис сидел на старом бутафорском барабане и тихо плакал. Слезы бежали серыми ручейками по набеленным щекам. Глаза щипало от расплывшейся краски ресниц. Сердце взволнованно стучало в груди.

Случилось так, что прекрасная Ариадна, только начавшая номер, вдруг распахнула занавес и, высоко подняв пышные юбки, выбежала с манежа с криком «Спасите!» Дрессировщицу испугали две борзые, которые неслись к ее болонкам, только что чинным строем вышедшим на манеж. И Ариадна, и болонки, и клоун знали, что такое зубы борзых: ЩЕЛК — и нет болонки. А каждая штучка — ого-го сколько новыми! Да полгода работы! Вот Ариадна и не постеснялась, задравши юбочки, прервать номер. Главное было — спасти своих крошек от зубов взбесившихся борзых. Клоун Алексис кинулся наперерез чудовищам, и они с разбега вцепились в него зубами, благо, в толщинки на икрах, а не в тело храбреца. Болонки были спасены, а прекрасная Ариадна так и остановилась с раскрытым, чтобы не сказать «с разинутым», ртом. Ее руки все еще сжимали

задранные юбки, что давало возможность онемевшему от восторга клоуну насладиться видом полных ножек прелестной дрессировщицы.

Все закончилось благополучно, Ариадна вернулась на манеж и продолжала свой номер, униформисты увели борзых, но нервы клоуна не выдержали, и он прослезился. Алексис был очень впечатлительным и нервным человеком, к тому же его всегда обуревали самые странные фантазии, его воображению могло представиться все что угодно. Сейчас, например, он подумал, какая струя крови хлынула бы из его ног, если бы не было толщинок. Но главной причиной слез Алексиса было то, что он давно и безнадежно любил очаровательную Ариадну.

Да и как было ее не любить!

Скорее маленькая, чем высокая, как раз такого роста, чтобы Алексис мог чувствовать себя рядом с ней крупным, могучим мужчиной, пышненькая, но с талией; с круглыми, упругими щеками в естественном румянце такой силы, что она вполне могла выйти на манеж без грима; с маленьким, ровным носиком; с живыми синими глазками; головка — в кудрях темно-рыжего цвета богатейшего тигриного тона. Вот каков ее портрет. Но при такой-то красоте еще и добрая, умная (в меру),

порядочная, добродетельная, не в пример современным девицам, особенно цирковым.

Ариадна закончила свой номер и подошла к Алексису.

— Спасибо, милый Алексис. Представить себе не можешь, как ты меня выручил. Просто даже не знаю, как тебя отблагодарить.

— Выходи за меня замуж, — потупившись, сказал Алексис, и краска смущения проступила сквозь толстый слой белил и румян. — Я уже давно люблю тебя, все не смел признаться. Ах, не смейся надо мной, — обиделся было Алексис, увидев улыбку на розовых губах Ариадны.

— Да я вовсе и не смеюсь, может, это я от радости улыбаюсь. Ведь не каждый же день получаешь предложение руки и сердца.

— Тебе бы все пошутить, а я вполне серьезно.

— И я серьезно. Только дай мне подумать. Все это так неожиданно... И потом... сразу замуж — скучно: надо, чтобы сначала был роман...

На следующее утро, когда семейство Ариадны собралось за завтраком, и все, доев геркулесовую кашу, начали пить кофе со сливками, она объявила о полученном предложении.

— Наконец-то! — воскликнула и захлопала в ладошки бабушка. — Кто же он? И почему это предложение сразу тебе? Видно, дурно воспитан, коли не пришел к родителям просить твоей руки по всем правилам.

— Это клоун, бабуля. Наш клоун Алексис, — ответила Ариадна.

— Ну, уж нет! Хватит с нас! — вдруг закричал дед. — Умру, но не отдам тебя за клоуна! Отец твой ранил нас — ушел в циркачи, братья твои — туда же, махнул на них рукой, слава богу, хоть пока еще на свободе, бойки больно. Да и ты сама чуть не убила нас с бабушкой, когда стала дрессировщицей этих плюгавок. Все терпели, все сносили. Но теперь я скажу: нет, нет и нет. Подай нам зятя благородных кровей и с приличным местом. Надо же — клоун! Это что же за внуки пойдут! Калерия, — обратился он к бабушке, — если она ослушается, так я ее из завещания вычеркну. Ты согласна?

— Да, дорогой, я всегда с тобой согласна.

— Старики, пожалуй, правы, — сказал папа, — да и что за муж этот Алексис. Так себе клоун, середнячок, его даже в загранку не посылают. Какой с него прок...

Ариадна еще немного молча посидела, румянец разлился по всему лицу и по шейке до декольте, потом встала из-за стола и удалилась к себе в спальню. Она

злилась на родственников. Так долго ждала предложения, все подружки уже давным-давно замужем. Пойти за Алексиса — вычеркнут из завещания, обидно. Всю ночь Ариадна не спала. Что же выбрать? Замуж или бабушкины брильянты? Ну, ладно, выберем завещание, а вдруг там ничего нет, ведь никто, никогда этого завещания не видел... Ну, а если все-таки выйти замуж? Тогда все камушки... да брюссельские кружева, да у деда наверняка еще что-то эдакое припрятано — все Пашке и Митьке, совсем плохо, они еще передерутся до смертоубийства, опять Ариадна будет виновата.

Назавтра, когда Ариадна пришла в цирк, клоун Алексис уже сидел на своем любимом барабане. Свет еще не зажигали. И хорошо. В темноте будет удобней отказать. Все, как было, так и рассказала Ариадна. Алексис печально кивал головой.

— Я так и знал, что ничего не получится. Все дело в том, дорогая Ариадна, что ты меня совсем не любишь. Любила бы — наплевала бы на бабушку-дедушку и прочих родственников.

Помолчали. Ариадна крутила ножкой ямку в песке. 2 — Зибер — 2 вылетели клубочком с манежа, крепко выругались и пошли обратно. Распорядитель зажег свет.

— Ну, мне пора к собакам. Не сердись, Алексис. Давай будем дружить, — сказала Ариадна и ушла, покачивая крутыми бедрышками, затянутыми в ярко-синий вельвет.

Алексис отпросился с репетиции, сказал, что болит голова. Дома, не обращая внимания на ворчание ма-тушки, улегся в ботинках на диванчик, руки за голову, глаза в потолок. Полежал, вскочил, топнул ножкой.

— Эврика! Она все-таки будет моей!

Зашагал по комнате — три коротких шага к окну, три обратно, к двери. Что-то про себя бормотал. Напуганная маменька прислушивалась, но мало что поняла. Улавливала только отдельные слова: «там полставки.. тут полставки... внушительно... актер я прекрасный... а паричок?.. экипировочка... рекомендации!.. друзья помогут... Ах, Ариша-Аришечка, обману, обведу вокруг пальца — ничего не почувешь...»

Часа в два дня, не пимши, не емши, умчался из дома. Маменька Викторина Васильевна кинулась к тайнику. Так и есть. Пусто. Унес все, что было припрятано на черный день.

Вернулся уже к вечеру. Веселый. Поднес маменьке букетик подсохших роз. Шумел бумагами, разворачивая принесенные пакеты. Крикнул:

— Мамашенька! Сядьте на стул, буду вас удивлять!

Викторина Васильевна послушно уселась, сердце колотилось, придерживала его ручкой. Алексис вышел.

— Ах! — только и воскликнула Викторина Васильевна. Перед ней стоял элегантный молодой мужчина с пышной черной шевелюрой. Синий пиджак сверкал двумя рядами золотых пуговиц. Светлые, серые брюки разлетались в стороны клешами. На груди весенним лугом пестрел галстук. Пышные волосы будто бы скрыли длину носа, расцветили обычно землистую кожу лица, да и глаза вроде бы стали больше и красивее.

— Многоуважаемая Викторина Васильевна! Перед вами МНС ИтриП — Младший Научный Сотрудник Института Преждевременного Постановления Проблем.

Любимый сыночек кукарекнул петушком, подпрыгнул к потолку, ухватился мизинчиком за паутинку, оставшуюся после предновогодней уборки, и покачался на ней, сверкая новыми ботинками перед носом ошеломленной мамы.

— Ну, каково, маменька? Вот сейчас вздремну немножко, чтобы получше выглядеть, и... Адью! Отправляюсь в ответственное путешествие. Когда вернусь и с кем, — многозначительно поднял брови, — покажет время.

— В добрый час, сыночек! — пролепетала Викторина Васильевна и пошла пить валерьянку, она знала, что обычно после дневного сна Алексис бывает в дурном расположении духа. Надо было заранее успокоиться.

Проехав полгорода автобусом, метро с двумя посадками и снова автобусом, тесно наполненным утомленными служащими, Алексис оказался в квартире старого знакомого Викторины Васильевны, известного писателя Олегова (псевдоним). Писатель этот в свои сорок пять лет известен был повестью в полтора печатных листа, которую он переделал в киносценарий, в телесериал, в пьесу и в литературный монтаж. На самом деле Олегов писать не любил, он ненавидел это занятие, к тому же новые идеи обходили его стороной. В голове жила единственная мысль: во что бы такое еще раз переделать многострадальную повесть, чтобы кинуть в бездонную пасть быта очередную порцию денег. Швырнуть — и заняться любимым делом: разобрать до последнего винтика, а потом, смазавши и почистивши, снова собрать что-нибудь из домашних механизмов, например, велосипед-тандем.

Хозяйка дома, низкорослая блондинка, гостей принимала изысканно. Никаких селедок-картошек, этим

уже никого не удивить. Горки изящных разноцветных бутербродов оживляли сдержанный по колориту интерьер. Оригинальные бокалы нежно позванивали на столике в стиле ампир. Напитки тоже были необычные. Например, ликер манговый, бутылочка укутана в мешковину, перуанский херес, водка женьшеневая, прямо из Бутана.

Людочка, хозяйка дома, загадочно прикрыв глаза, томно поигрывая своим волнующим, низким голосом, познакомила Ариадну с новым гостем:

— Антон — МНС ИтриП, молодой ученый, подающий надежды...

Глянула Ариадна — и обомлела. Вот он, герой ее снов, научный сотрудник, какой интересный, а волосы-то, ах, не показаться бы ему дурой.

Это была любовь с первого взгляда. Антон и Ариадна ушли с вечера рано. Им хотелось остаться вдвоем. С черного неба сверкали далекие звезды, снег хрустел под каблуками, морозный воздух был душистым и вкусным. Влюбленные шли медленно, забыв о городском транспорте, и только когда Ариадна перестала чувствовать свои ноги, пришлось сесть в проходивший мимо пустой автобус, который неожиданно поехал каким-то странным путем и только через час остановился

у дома дрессировщицы. Молодые люди хотели бы еще постоять у подъезда, но зоркая Ариадна увидела вдалеке Пашку с Митькой. Побавиваясь своих воинственных братьев, она решила не искушать судьбу и попрощалась с Антоном.

Дома праздновали семидесятишестилетие бабушки. Дед, поднимая очередной бокал, произносил традиционный тост: «Пью за поцелуй Калерии!» и выразительно смотрел на бабушку, которая застенчиво улыбалась. Вот это любовь, думала взволнованная Ариадна и вспоминала своего нового очаровательного знакомого.

Чем ближе подходил к своему дому наш раздвоившийся герой, тем хуже становилось у него на душе. Его грызла ревность, какой не испытывал ни один человек на свете. Как нежна Ариадна с Антоном! А про Алексиса, поди, и не вспомнила. И как она смотрела в глаза Антона! Уууу... выколоть эти глаза! И, будто нечаянно касалась ручкой пышных черных волос, вспомнил Алексис и сорвал парик с головы. К счастью, это случилось уже у дверей его квартиры, не то застудил бы головку.

Наступили трудные дни. Ариадна была весела и светилась счастьем. Скоро весь цирк узнал, что очаровательная дрессировщица влюблена и любима. Алексис

подумывал о том, чтобы реже бывать в цирке или даже вовсе уйти с манежа. Но на это он не мог решиться, уж больно был привязан к своему барабану.

Однажды сидел грустный-грустный Алексис в своем уголке и кормил Мадам Ревность. Наклонив голову, увидел, что у его ног сидит одна из Аришинных собачек. Стал Алексис рассказывать ей о своих переживаниях, а собачка — прыг! к нему на колени, нежной лапкой гладит по лицу и говорит тихонько:

— Не думай о ней, она ведь не так хороша, как тебе кажется. Ведь и толстая, и грубая. Лучше обрати на меня внимание. Видишь, какая я ласковая и нежная, какая у меня шелковая шерстка, какая горячая кожа. — Говорит и все гладит лапкой по рукам, глядит своими карими глазищами так настойчиво, так внимательно, прямо в душу забирается. И шепчет, и шепчет: — Ты только погладь, да обними меня, смотри, как я хороша... Аришка ведь тебя не любит, она любит вон того, чернявого. Гляди, как они над тобой насмеются!

Глянул Алексис — и правда. Стоит Ариадна в обнимку с Антоном. Схватил Алексис коричневую собачку и швырнул ее в Антона...

— Взять его, взять!

Захотела собачка, и исчезли все трое.

Однажды вечером Алексису живо представилось, как Ариадна целовалась с Антоном. Мерзкие губы — не понять, свои ли, его ли, — отлупил, что было силы. На завтра рот распух, пришлось придумывать новый грим. Ничего, публика смеялась.

В другой раз не понравилось Алексису, что уж больно крепко Антон обнимал Ариадну.

— Ну, негодяй! Наобнимался и хватит...

Пошел Алексис на кухню, взял старый топорик, поправил обушок, чтобы не слетел с топорща, да и отрубил левую руку до локтя. Правую пожалел, еще пригодится. Для института сочинил историю, что, дескать, сдал часть руки на подновление, что-то плохо расти стала. А в цирке на место отрубленной руки приделал медную трубу, которую стащил в оркестре. Такой новый номер получился, хоть на смотр Молодых Талантов выставляй. Директор пообещал премию за выдумку.

Дома у Ариши все уже знали об Антоне, надо было пойти туда с визитом. Братьев, к счастью, не было, купили. Но побаиваться надо было и отца, ужас какой хищнец, даром весь век провозился с хищниками.

Бабушка Калерия сидела в старом-старом кресле. Строго спросила:

— Что кресло мое разглядываете, молодой человек? Что, ветхо? Так ведь вещи — это тлен. Главное в жизни — человеческие отношения.

Дед распушил усы и сказал:

— Вам досталась драгоценность. Берегите ее, господин младший научный сотрудник. Впрочем, вы у меня вызываете доверие. Вы мне нравитесь. Жаль только, однуруки, не так крепко будете обнимать молодую жену, хо-хо-хо! Ну, ничего. Мы умрем, получите наследство, сделаете себе новую руку. Я думаю, Калерия, имеет смысл вписать его в завещание. Ты не возражаешь?

Время бежало быстро, наступила весна. В выходные дни Антон и Ариадна выезжали на природу. Бывало, катались на велосипеде-тандеме, писатель Олегов уже его починил и давал этот механизм напрокат. Иногда Ариша брала с собой на прогулку любимую коричневую собачку. Собачка все внимательно разглядывала Антона. Как-то он, собирая одуванчики на веночек Арише, наклонился, а коричневая собачка эдак тихонько и скажи ему на ухо:

— А я тебя узнала. Не ответишь мне взаимностью — все Аришке расскажу.

Очень испугался Антон. Пнул собаку ногой, да так сильно, что та — лапками вверх и — не дышит... померла. Ариша кричит из-за березок:

— Ау! Где вы там?

Антон быстро разрыл под старой елкой еще на раставший сугроб, собаку — туда — и закидал ее лапником. Потом отбежал в сторону и кричит как бы издали:

— Ау, Ариша! Здесь я! Идите сюда!

До темноты искали в лесу любимую коричневую собачку. У Ариши от слез глазки распухли, а собачку так и не нашли.

Недели через две, гуляя по тому же лесу, наткнулись на странную процессию из нескольких человек. Впереди шла девочка с распущенными волосами, лет десяти. Она, закрыв глаза, держала перед собой тонкий, изгибающийся прут. Казалось, что этот прут тянет девочку вперед.

Смеркалось. Весна была ранняя, но затяжная, тепло еще не пришло. Солнце садилось, в лесу было сыро. По траве, оставшейся с прошлого года, уже стелился голубоватый туман.

Вдруг девочка вскрикнула, ее прут ткнулся в еловые лапы под старой елкой и замер. Люди, которые шли за девочкой с прутиком, быстро растащили лапник, и

все увидели, что под ветками лежит трупик маленькой женщины. Крошечное тельце, волосы прикрывают лицо, в руках что-то коричневое, будто собачья шкурка.

Все столпились вокруг и молчат. Ариша вцепилась в ладонь Антона и тихонечко говорит:

— Какой ужас! Кто же это ее? За что?

А девочка открыла глаза и отвечает:

— Как за что? За правду. Виноват вон тот, которого ты за руку держишь.

Антон отступил в сторону от Ариши, а тут старая справедливая елка согнула свои сучки да ветки, паричок-то и зацепись за них.

— Алексис! — в ужасе закричала Ариадна и, пораженная внезапной догадкой, упала без сознания.

Всю ночь проблуждал Алексис по лесу. В город добрался только утром. Одиноким, несчастным, чувствуя непоправимость всего случившегося, пробрался через окошко конюшни в цирк. Пошел в гримерную, переоделся в свой самый нарядный костюм. Надел малиновый шелковый балахон и желтый колпак с синей кисточкой. Набелил щеки, нарисовал печальные черные брови и веселый красный рот. Посидел в уголке на

любимом барабане, поплакал чуть-чуть и вылез через окошко конюшни на улицу.

Весь народ шел к центру. Никто не обращал внимания на Алексиса. Алексис постоял, подумал и пошел вместе со всеми. И пришел вместе со всеми на Розовую площадь. По краям Розовой площади стояли конные полицейские, они никого не пускали в середину. А там происходило что-то очень важное.

— Пустите меня, а? — жалобно попросил Алексис конного полицейского.

— Ну, давай, пролезай под конем. Только быстро.

Алексис быстро нагнулся, но когда пролезал под конем, видно, своим клоунским колпаком пощекотал брюхо коня, и тот слегка лягнул бедного клоуна. Алексис отлетел в сторону и проехался животом по гранитной мостовой. Все вокруг засмеялись, и никто не стал ругаться, что Алексис пролез без очереди.

Конные полицейские пропустили в середину несколько важных персон, и Алексис, поднявшись с земли, пошел вместе с этими людьми к Главной Усыпальнице.

Около Усыпальницы все остановились, и Алексис тоже остановился. Там, рядом с караулом Почетных Плакальщиц, стоял на коленях какой-то человек. Его

руки были связаны за спиной, голова его склонилась на грудь. Пышные черные волосы стоявшего на коленях человека ворошил утренний ветерок. Человек был одет в яркий синий пиджак с золотыми пуговицами, в светлые брюки, которые своими клешами грустно опали на мостовую.

Из-за Усыпальницы вышел человек в сером комбинезоне и подошел к человеку со связанными руками. Кто-то из стоящих рядом с Алексисом негромко сказал:

— Первая и единственная в нашей стране публичная казнь.

Тут Алексис сообразил, что еще не читал сегодняшних утренних газет, поэтому ничего и не может понять.

Человек в сером комбинезоне приставил к затылку человека в синем пиджаке блестящий металлический предмет, похожий на перочинный ножик, нажал на какую-то кнопчку, из металлического предмета выскочило широкое, короткое лезвие, которое вонзилось в затылок человека со связанными руками как раз под черными кудрями. Человек, стоявший на коленях, сразу же упал вперед, ткнулся головой о гранитную мостовую, да так и остался лежать. Из щели, образовавшейся в его затылке, стала вытекать плоская струйка тем-

но-красной крови, которая медленно потянулась вниз по склону, к Никодимовскому саду.

Человек в сером комбинезоне поднял вверх и показал народу загадочный металлический предмет, громко объявив при этом:

— СКРПЕЛЬ-1 — достижение отечественной науки и техники. Сеанс окончен.

Народ стал расходиться.

Алексис догнал человека в сером комбинезоне уже около Кунсткамеры.

— Я вас очень прошу, пожалуйста, сделайте мне так же, как и ему, этим вашим... как его там... скарпелем... Мне, очень, очень нужно...

— Иди, иди... Проваливай, — грубо сказал человек в сером комбинезоне. — Не то возьму и правда сделаю.

— Поймите, мне без этого человека не жить. Ну, что вам стоит. Ведь это так просто, так быстро. Сделайте одолжение. А я вам медную трубу подарю.

— Ну... Если так... то... Ладно, уговорил...

Алексис снял с себя свою прекрасную желтую трубу и протянул ее человеку в сером комбинезоне. Тот быстро приставил СКРПЕЛЬ-1 к затылку Алексиса, Алексис неловко, ударившись плечом, повалился на брусчатку Розовой площади, да так и остался там ле-

жать. Из-под него заструилась плоская струйка темно-красной крови, которая на спуске за Кунсткамерой соединилась с другой такой же струйкой.

А человек в сером комбинезоне продолжал свой путь к Никодимовскому саду и при этом громко и весело играл на трубе. К нему слетелись сизые голуби из сада, и он покормил их хлебными крошками, которые достал из кармана своего серого комбинезона.

БУКЕТ

Телефон зазвенел междугородним звонком. Это из Ленинграда звонила Наташа. Она печальным голосом сказала, как ей плохо без меня и лучше помереть, чем так жить. И я, ни секунды не раздумывая, сказал, что завтра приеду. А она говорит:

— Ни в коем случае.

А я говорю:

— Как же я могу не приехать, когда тебе до смерти плохо.

А она говорит:

— Нет, не приезжай, может, я еще пока не умру.

После этого разговора я пошел в редакцию и отпросился на два дня.

В редакции на столе у нашей художницы я увидел чудесные цветы. В этом не было ничего удивительного, потому что у нашей художницы всегда были какие-нибудь цветы. Но в этот день цветы были особенные. Художница сказала, что это японские бронзовые хризантемы. И я решил, что должен обязательно привезти Наташе именно такие цветы.

Я поехал на Сретенку в знаменитый цветочный магазин, в котором всегда покупали цветы для подарков каким-нибудь знаменитостям. И вместо того чтобы, зайдя в кабинет к директору, сразу показать ему свое редакционное удостоверение и солидным голосом сказать, что необходимы лучшие цветы для встречи японской делегации, я стал объяснять с пылом молодого романтика-инженера, что в Ленинграде живет женщина, которой сейчас очень худо, и, чтобы у нее исправилось настроение, ей непременно нужно привезти самые лучшие цветы. Директор выслушал меня и вежливо, но холодно проговорил:

— Пожалуйста, покупайте любые цветы из тех, что выставлены в зале.

Тут я очень глупо промямлил:

— Но мне обязательно нужны японские бронзовые хризантемы.

На это директор как-то обидно рассмеялся и сказал:

— Ничем не могу помочь. Увы. — И уткнулся в свою «Комсомолку».

Я так на себя разозлился, что, выйдя в зал, купил самую большую в мире корзину обычных белых, курчавых хризантем. Эти хризантемы были бы очень хороши, если бы я не видел тех, бронзовых.

До отправления хельсинкского поезда оставалось еще часов шесть. Пришлось везти корзину домой. Из магазина мы с таксистом выносили корзину вдвоем. К счастью, в этот день мама гостила у теток с ночевкой, иначе корзина услышала бы мамины комментарии.

Таксист, который вез меня на вокзал, тоже оказался добрым парнем и помог мне дотащить корзину до вагона. Проводница посмотрела на меня жалостливыми, понимающими глазами и разрешила поставить корзину в тамбуре.

Утром я решил, что цветы надо срезать. Не купчина же я какой, чтобы явиться к Наташе с этой дурацкой корзинкой. Я попросил у проводницы ножницы и отправился в тамбур. Проводница ножницы дала, но тут же выскочила из своего купе вслед за мной. Я успел срезать только один цветок.

— Вы зачем же срезаете цветочки! — завопила проводница и выхватила у меня из рук свои ножницы. — Вы ведь, наверное, на могилку везете. Дак они же в корзинке будут лучше, зачем срезать-то...

— Нет, нет, не на могилку, — забормотал я. — Это в подарок любимой женщине. Наташе.

— Живой? Надо же... Ну, вы вообще... Вам же лучше, чтоб вас подольше вспоминали. Я не дам вам

портить эдакую красоту. Вот дура-то я, сразу не сообразила...

У проводницы, наверное, была чувствительная душа. Видно, ее сильно разволновали моя корзина, неведомая Наташа, которой везут такой подарок, я — конечно, прекрасный человек, и размышления о своей кочевой жизни, в которой, может быть, никогда не было симпатичного мужчины с приятным загорелым лицом и с душевными порывами в виде корзины с цветами. И она в задумчивости остановилась у титана с кипятком, забыв, что пора собирать постельное белье и получать деньги за чай.

Московский вокзал встретил меня громкой и очень торжественной музыкой из балета Глиэра «Медный всадник». Под эту музыку полагалось идти бодрым шагом, элегантно помахивая плоским черным атташе-кейсом. Я же еле передвигал ноги под тяжестью своей корзины и являл собой досадный диссонанс энергичной толпе, которую привез из Москвы респектабельный хельсинкский поезд.

В северной столице очередь на такси соблюдается очень строго. Машин к прибытию поезда приходит так много, что и ждать-то почти не приходится. Но никто из ленинградских таксистов, когда я называл адрес, не

хотел везти меня на такое незначительное расстояние. Наконец один, которому я посулил во много раз больше таксы, сжалился надо мной, но с укоризной сказал:

— Ты что, старик, купюрами кидаешься. Вроде, по виду не буржуй.

Мы быстро домчались до Большой Подъяческой, и я оказался на пустынной по-утреннему улице, под моросью ленинградского тумана, один на один со своей корзиной.

Когда я отпрашивался в редакции, когда шел в цветочный магазин на Сретенке, потом домой, потом на Ленинградский вокзал, ехал в поезде, ехал в такси на Большую Подъяческую, я двигался к Наташе, и ничто не могло бы меня остановить. Но вот я стою на мокром асфальте и начинаю соображать, что, пожалуй, прежде чем двигаться дальше, а осталось только подняться на пятый этаж, надо бы позвонить Наташе, утро ведь еще, неудобно врывать в дом в такую рань. Впервые в жизни. С корзиной.

Двушек в кармане оказалось только две. Одна из них была чуть погнута и не лезла в щелочку, вторую автомат проглотил, но ответил мне только шипением в трубке. Надо было срочно найти булочную или газетный киоск. Но рядом с Наташиным домом не было ни

газетного киоска, ни булочной, а из прохожих нашлась только вымокшая сиамская кошка.

Бумага, которая окутывала цветы, начала таять под действием ленинградского тумана. Пропади она пропадом, эта корзина, вдруг подумал я, поднял ее, прижал в последний раз к своему животу, перенес через улицу и поставил у входа в скверик как раз, решил я, против Наташиных окон. Теперь я мог пойти поискать людей, двушку и исправный телефон.

Мои блуждания привели меня к дворничихе, которая подметала мостовую на углу Римского-Корсакова и Садовой. Дворничиха привела меня в свой ЖЭК, в котором топились прекрасная голландская печка. Телефонный звонок привел меня к Наташиной маме, а Наташина мама привела Наташу из ванной к телефонной трубке. Так же глупо, как и все, что я делал последние полгода, я сказал Наташе:

— А вот и я... Я уже здесь...

Наташа охнула и неестественным голосом стала объяснять некому Николаю Николаевичу, что белых мышей вчера не подготовила Вера Яковлевна, а она, Наташа, в этом не виновата, но если это срочно, то она через час будет в лаборатории, вот только соберется и позавтракает.

— Ладно. Понял, — сказал я. — Жду тебя через час в «Астории». В самом ресторане.

Я уже почти добрался до «Астории», когда сообразил, как нелепо ждать Наташу в «Астории», если можно было бы встретиться около ее дома. И пошел обратно на Большую Подъяческую.

Еще только подходя к углу, я услышал какой-то непонятный шум. Когда же я повернул за угол, то увидел толпу людей, стоящих у входа в сквер. Эта толпа оказалась мне похожей на плохо организованную массовку в нашем старом кинофильме. Люди таранились на что-то и бормотали нечто нечленораздельное.

Я стал пробиваться сквозь «массовку», под ноги подвернулась вымокшая сиамка.

Люди стояли у моей корзины, почтительно сохраняя пустой полосу нейтральной земли около букета. Дождик уже давно смыл с букета остатки мокрой бумаги. Белые хризантемы курчавились под ветром, и с каждой минутой их становилось все больше. Я перепрыгнул через нейтральную полосу и неожиданно легко поднял букет. К этому моменту стебли его цветов были уже размером с мою руку, от кончиков пальцев до плеча. Люди, наверное, даже и не заметили меня, потому что я совершенно скрылся под массой цветов. Все наверняка

понимали, что у них на глазах совершается чудо, хотя чудес на свете не бывает. И потому никто не удивился, когда чудо, раздвигая курчавыми белыми головками толпу, зашагало через улицу к дому номер пять.

Когда я вошел в подъезд, цветы стали размножаться с фантастической скоростью. Корзинка, которая по-прежнему оставалась самой большой в мире цветочной корзиной, не могла уже вместить такого количества стеблей и листьев, и цветы, ломая друг друга, стали вываливаться из корзины и карабкаться по лестнице рядом со мной на пятый этаж.

Дверь открыл Наташин муж. Он меня никогда не видел, но, полагаю, догадывался о моем существовании, так что он понял, кто к ним пришел, и молча показал мне дверь слева по коридору. Наташа стояла посреди комнаты, завязывала пояс халатика и испуганно смотрела то на меня, то на мужа, то на цветы, которые вползли в комнату за мной и замерли у ног Наташи. Наташин муж сказал, что ему пора на работу, и тут же ушел.

Наташина комната была очень большая, очень светлая, с глубоким альковом, в нем стояла широкая двуспальная кровать, изголовье которой было обтянуто белым шелком. Кровать еще не была застелена, и я уви-

дел две примятые белые подушки и на краю кровати небрежно брошенную полосатую мужскую пижаму, а рядом — розовую кружевную пену ночной рубашечки.

Как же так, подумал я, ведь Наташа как-то жаловалась мне, что диванчик, на котором она всегда спит в своей маленькой, подчеркивала Наташа, комнате, ужасно неудобный, горбатый. И еще сказала, что это даже хорошо, потому что, когда она во сне скатывается с горба не к спинке, а наружу, то она просыпается и сразу же, «как молнией пронзит», так выразилась Наташа, она думает обо мне.

Наташа увидела, на что я смотрю, и покраснела. А я ничего ей не сказал. Вышел из квартиры и спустился вниз по лестнице, стараясь не наступать на цветы.

Толпа разошлась. Холодный ветер с Балтики катил по черному асфальту белые головки хризантем и временами закручивал маленькие смерчи из отлетевших от цветов белых кудряшек.

Я закурил, немного постоял и пошел на Невский. За-втракать. В «Норд».

ПОБЕГ

Я переутомилась за долгий период работы, но никому об этом не говорила, поскольку наступило время моего перерыва для большого отдыха. Я отключилась от общего калькулятора, сдала свои квалы на прослушку и почувствовала себя свободной. Вечером меня вызвали в Управление/личных/наблюдений и предложили на выбор восемь вариантов разумного безделья. Я не знала, какой из вариантов выбрать, но показывать свою незаинтересованность считается неэтичным, и потому я ткнула пальцем наугад, в первый попавшийся из предложенных вариантов. В этом варианте был туристический полет к Третьей планете системы 96 на диске экономического типа. И мне разрешили собираться в путь.

На диске служил приятный коллектив, мне было предложено включиться в трудовой процесс. Я добровольно отстаивала вахты у реактора и помогала на кухне. Вечерами, в свободное время, мы смотрели документальные фильмы о нашей прекрасной планете, слушали лекции о предстоящей нам жизни на отдыхе, овладевали тамошними языками и пытались понять

образ мышления туземцев. Уже тогда я заметила, что для нас, в отличие от них, понятие «рассудок» выше, чем понятия «совесть», «мораль», «любовь». Поняла, что для нас, если сравнивать с ними, главное всего — целесообразность, а превыше всего — рациональность. На отдых я уходила в свой отсек и наслаждалась Темнотой/Тишиной.

К концу восьмого цикла мы зависли над планетой Три в той ее части, где расположен полуостров под местным названием «Крым». Я некоторое время понаблюдала за Крымом и поняла, что наши ученые правы: этот полуостров является тамошней зоной отдыха. Там почти никто не занимается производительным трудом. Туземцы лежат на берегу моря, много едят, играют в мяч, а с наступлением вечера разбиваются на пары и удаляются в Темноту.

Командир разрешил мне покинуть диск на короткое время, но предварительно я должна была пройти обработку у Выпрямителя/чувств. Тот предупредил меня о некоторых сложностях, проистекающих от неорганизованности людей и их незнания Высшей/всем/понятной/истины.

Диск покинули трое — Второй Наблюдатель, Заместитель Выпрямителя и я. Мы спустились около поселка Коктебель и пошли по набережной. Наблюдатель

фиксировал детали быта, Заместитель Выпрямителя наблюдал за Наблюдателем, а мое внимание привлекла одна интересная женщина, которая прогуливалась в одиночестве, что мне показалось не вполне естественным. Я решила подойти к этой женщине.

— Скажите, пожалуйста, который час? — спросила я.

— Точно не знаю, наверное, около семи. У меня часы остановились.

— Вы приобрели ваш наряд за деньги? — мне очень понравились ее брюки из ткани в цветочек, и я позволила себе задать подобный вопрос.

— Да вы что! Разве у нас такое купишь! Сама сшила...

— Вы умеете шить?

— Умею. А почему вас это удивляет?

— А почему вы прогуливаетесь одна?

— Станный вопрос. Мне просто хочется побыть одной, вот и все.

Заместитель Выпрямителя приблизился ко мне и потянул меня в сторону. Он был чем-то недоволен. Женщина, конечно, его не увидела, но явно удивилась, когда я внезапно начала пятиться от нее.

— Простите, что я нарушила вашу прогулку, — сказала я, мысленно пожелав моему надсмотрщику отключения от Темноты/Тишины навсегда..

— До свиданья, — сказала женщина и помахала мне рукой.

— Пора возвращаться, — сказал Наблюдатель.

Вечером ко мне в отсек пришел сам Выпрямитель, он принес сборник цитат из текстов Великой/нерушимой/истины, чтобы я почитала перед наступлением периода Темноты/Тишины. Я сделала вид, что читаю, потому что знала: Выпрямитель наблюдает за мной через свой микроглаз. Но в мыслях у меня была та женщина, которая умеет шить себе одежду и любит гулять без сопровождающих.

— Прошу вас, — сказала я наутро Командиру, убедившись предварительно, что нас никто не подслушивает, — позвольте мне пожить их жизнью. Хотя немного. Ведь сейчас у меня период отдыха и аккумуляции энергии, и я имею ограниченное право распоряжаться своим временем.

— Не так просто получить на это разрешение, — сказал Командир, который хорошо ко мне относился и даже несколько раз делил со мной Темноту/Тишину. — Выпрямитель будет возражать.

— Я прекрасно знаю все правила материализации, — настаивала я. — Кроме того, у меня был выс-

ший балл по цитатам в Академии Образования. Клянусь Вечной/жизнью, я не нарушу ни одного пункта и даже укреплю в себе презрение к неорганизованности людей.

— Хорошо, я согласен, — подумав, сказал Командир. — Но на обратном пути ты будешь постоянно делить со мной Темноту/Тишину.

— Если это не принесет вреда моей трудоспособности, — ответила я стандартной формулой согласия. Должна сказать, что я предпочитаю проводить время Темноты/Тишины в одиночестве.

Я быстро оформила перфокарты, сделала себе небольшую сумку для местной легкой одежды и во второй половине дня покинула диск.

Было жарко и пыльно. Невысокие деревья с узкими листьями и сложенные из неровного камня низкие ограды индивидуальных жилых владений не давали тени. Мне захотелось раствориться, но такая демонстративная дематериализация могла быть сразу же замечена Выпрямителем, и он тут же потребовал бы меня обратно. Людей на улице не было. Я шла мимо домов, где на калитках висели узкие белые целлюлозные таблички с текстом «Комнаты не сдаются».

Наконец, надписи кончились, и я постучала по первой же деревянной калитке. Во дворике появилась крупная старая женщина. Я спросила у нее:

— Нельзя ли арендовать у вас небольшое жилое помещение?

— Вам комнату, что ли? Не, на одну не сдаем. Могу только подселить. Тут у меня живет одна... Подите, подывитесь друг на дружку, може сговоритесь, тогда и живите вместе.

Хозяйка дома пригласила меня во двор. Из низкой пристройки к нам вышла та самая женщина в пестрых брюках.

— Что ж, — сказала она. — Если хозяйка хочет кого-то подселить, так лучше уж вас, чем какую-нибудь занудную старушенцию.

— Слушай, женщина, а как хоть тебя зовут? — спросила хозяйка.

— Айя, — выпалила я первое пришедшее мне в голову созвучие. Об этом-то мы не подумали!

— Чудное какое-то имя. Не русское, что ли?

— Ну и что тут такого, у меня имя тоже не русское — Нисо — это таджикское имя, — сказала моя будущая соседка.

— Вот и добре, — сказала старуха. — А я — Фрося.

Потом Нисо сказала, что приглашает меня пойти с ней поесть, но если я предпочитаю самостоятельность, то лучше сразу расставить точки над «и». Я ответила, что не люблю большие коллективы, но небольшой коллектив из двух особей меня вполне устраивает. Мне нравилась прямота и решительность женщины по имени Нисо.

По улицам ходили почти обнаженные люди, казалось, будто они только что выскочили из Темноты/Тишины и просто не успели еще натянуть верхние покровы. Но, по-видимому, здесь это никого не смущало. Я не увидела ни одного местного Выпрямителя, а если считать Выпрямителем или хотя бы Агентом Выпрямителя человека с полосатой палочкой, который стоял на перекрестке и, как я помнила, назывался «милиционер», то он явно не исполнял своих обязанностей.

— Перестань вникать в эти мелочи, ни о чем особенно не задумываясь, — раздался у меня в ухе голос Выпрямителя. — Мы — думаем за тебя.

В столовой я и моя соседка стояли в очереди, в которой все громко разговаривали, явно о каких-то пустяках, при этом оглушительно хохотали. Из еды мне понравилось только одно блюдо — компот. Моя спутница усмехнулась.

— Вас бы в жены моему мужу, вы бы только компотом и питались.

Муж здесь — это постоянный спутник по Темноте/Тишине, и совсем не обязательно его менять через двадцать периодов.

Вечером подул ветер, он поднял пыль на дорогах. Пыль набивалась в глаза и в нос. Мне понравился запах пыли. Мы легли спать. Была неполная Темнота и неполная Тишина. На улице горели фонари. Ветер гудел, шелестел, скрипел, пел и выл разными голосами. Крупные, толстые листья инжира бились о стекло половинки окна, вторая половинка которого была затянута москитной сеткой. Эти листья были похожи на листья фурникуда, который у нас был уничтожен сто двадцать периодов назад. Когда решили это сделать, я никому не посмела сказать, что мне жаль эти бесполезные растения. В окно было видно, как молодой, стройный кипарис, что стоял рядом с инжиром, гнется до земли и резко выпрямляется, как только ветер меняет направление. Дверь в нашу комнатку то открывалась, то закрывалась. Тетя Фрося бродила по двору, ее широкие юбки трепал ветер. Моя соседка спала спокойно, ворочалась, пружины ее кровати взвизгивали. Было тревожно.

Я растворялась и снова материализовалась и никак не могла уйти во Временную/Вечность. Что-то странное было в воздухе этого места, и я себя не узнавала. Не понимала, почему так волнуюсь, правда, волнение это было даже приятным. В какое-то мгновение я все-таки не совладала с собой и, растворившись минут на пять, слетала на набережную. Я так близко подлетела к усевшейся на камнях у воды парочке, что дыхание людей стало покачивать мою невесомую субстанцию. Я поняла, что люди и не думали соблюдать священность Темноты/Тишины.

Утром мы с Нисо выпили кофе, сваренный в медной кастрюльке с погнутой ручкой, и отправились в бухты. Нисо сказала, что там лучше купаться, там и волны меньше. Бухты начинались за двумя огромными обломками горы, которые торчали из воды. После вчерашнего ветра на море было волнение, но все равно синяя вода в бухтах была совершенно прозрачной, и с горы, по которой мы спускались, виднелись камни морского дна.

Волны бежали так быстро, будто пытались догнать друг дружку. Они торопились добежать до берега и с досадой разбивались о камни, стоявшие между ними и их целью. Те же, что достигали берега, наталкивались на его равнодушную неподвижность и, разочарован-

ные, откатывались обратно, злобно утаскивая с собой в море камни и, наверное, иногда даже людей.

А в этот день люди были напуганы силой и неумолимостью волн, и почти никто не купался. Из воды торчали только две головы. Мы сидели на теплой гальке и смотрели, как два пловца сражаются с морем. Я быстро связалась с Мозгом/вычислителем/диска и узнала, что при данной скорости и энергии волн купание опасно для жизни людей. Погружаться в море было неразумно.

— Зачем тебе эти сведения? — спросил Выпрямитель.

— Я беспокоюсь за людей в воде, — ответила я ему.

— Немедленно отключи эти эмоции, — рассердился Выпрямитель.

Я согласилась, но на самом деле мои эмоции никуда не исчезли, я их только слегка приглушила. И с тайным злорадством отметила, что мое рациональное начало не справляется со странностями этого мира.

— Смотри! — сказала Нисо.

Один из пловцов что-то крикнул, поднял на мгновение над водой тонкую руку и скрылся в глубине. Тут же снова вынырнул и поплыл к берегу, пытаясь обогнать волну. Но волна нагнала его и накрыла. Мужчина, сидевший рядом с нами на большом камне, вскочил и закричал:

— Он же тонет! Вы что, не видите?

И мужчина побежал к воде.

Люди поднимались, делали неуверенные шаги по гальке к воде, но останавливались на границе между сухой и мокрой галькой. Люди боялись ступить дальше.

Мне бояться было нечего. У меня — Вечная/Жизнь.

Нисо протянула мне резиновую шапочку.

— Осторожней, смотри не утони...

— Спасибо, мне шапочка не нужна. Сиди спокойно, не волнуйся за меня.

Я нырнула, растворилась и тут же материализовалась около тонущего человека и того мужчины, который меня обогнал.

Вдвоем мы довольно легко вытолкнули на берег худого загорелого юношу. Мужчина остался на берегу, а я повернула назад, в море. Вода была приятной, теплой. Я отплыла подальше, там меньше качало.

— Осторожней, — жужжал в ухе голос Выпрямителя, — не демаскируй себя.

Вдруг я увидела рядом с собой голову еще одного спасателя. Он подплыл ближе и спросил:

— Вам нужна помощь?

— Видите же, что нет, — ответила я и засмеялась, мне было приятно, что обо мне кто-то беспокоится.

— Вы где научились так здорово плавать? — спросил мужчина.

— Дома, — ответила я и запросила у Мозга/вычислителя/диска показатели тонов сердца этого человека. Я правильно сделала. Его сердце билось с переборами. Он устал.

— Пора возвращаться, — сказала я. Мне захотелось скорей добраться до берега, и я нечаянно растворилась, но быстро опомнилась и снова материализовалась. Совсем рядом с моим спутником. Он крутил головой, будто что-то искал.

— Говорю же, поплыли обратно, — ответила я. — Там уже наверняка волнуются.

На берегу мой спутник подошел к нам с Нисо и сел рядом на плоский камень. Нисо сказала, что перегрелась и пойдет домой. Она ушла, а мы с Давидом остались. Мы с ним еще немного посидели, и Давид позвал меня в горы. Оказалось, что подниматься по склону горы вверх куда труднее, чем плавать. Мне все время хотелось раствориться. Подъем казался бесконечным.

— Айя, вы живете в Москве? — спросил Давид.

— Нет, — коротко ответила я. Может быть, это прозвучало слишком резко, но я боялась допустить какую-нибудь ошибку.

Наконец мы вышли наверх. Какая красота! Солнце заходило. Розовое небо, такого у нас не бывает, странно окрашивало сиреневым вершины гор, но гора Кара-Даг уже вся была темно-синей, темно-лиловой. А слева под последними лучами заходящего солнца горела золотом гора Хамелеон. Ветер обвевал нас плотными сильными струями. Мы сидели на каменной скамье лицом к морю, и Давид читал стихи. Он был могучий, рыжий, с мощными стволами ног и с золотым пушком на тыльной стороне кистей рук.

Давид спросил:

— А Нисо ваша подруга?

— Нет еще, — ответила я, — но надеюсь, что она будет подругой. Сейчас мы просто живем вместе, в одной комнате, у тети Фроси.

— Она надолго здесь?

— Ничего о ней не знаю, я приехала сюда только вчера, — ответила я.

Мне как-то не захотелось продолжать разговор о Нисо. Почему он ничего не спрашивает обо мне?

— Прощайся с этим человеком и отправляйся домой, — пробурчал Выпрямитель, — у тебя определилось нарушение Нервной/системы.

Мне надо было бы сразу послушаться, но я ответила:

— Еще минутку.

И Выпрямитель послал в меня с диска слабый ряд. Я вздрогнула от боли.

— Вам холодно? — спросил Давид.

— Немного, — ответила я. — Может, пойдем домой?

— Честно говоря, жаль уходить от такой красоты.

Мы не торопясь спустились с горы. Выпрямитель молчал. Он был доволен, что я подчинилась ему. Но у меня настроение сильно ухудшилось. Теперь он в любой момент может добиться у Командира моего возвращения. А на диске мне грозит Проверка/стабилизации.

Откуда-то прибежала к нам маленькая собачка. Оказалось, что Давида чудом нашла его собачонка, которая помещалась у него в руке. Крошечный зверь с изящным маленьким тельцем носился по горам, распугивая птиц. И в этом тоже была какая-то прелесть. О, какие слова я запомнила!

Мы почти не разговаривали. Мне показалось, что он думает не обо мне, и я не хотела в этом убедиться. При спуске с горы, в трудных местах я иногда опиралась на руку Давида. Это очень не нравилось его зверюшке, она начинала истерически лаять. От руки Давида исходило

совершенно незнакомое мне и прекрасное ощущение нежной силы.

Что со мной?

Я купаюсь в свете розового заката...

Ветер заворачивает меня в легкие ткани...

Большой, добрый мужчина несет меня на руках...

— Осторожно, — крикнул Давид, — не споткнись. Устала?

— Нет, с чего бы мне устать, — сказала я и тут же ощутила, что взлетаю высоко в небо и руки Давида ловят меня.

В нашей комнате свет горел, значит Нисо еще не спала, но она не вышла нас встретить. Прощаясь, Давид спросил, придем ли мы завтра на пляж. Нисо что-то прокричала, не выходя из домика, а я только пожала плечами — врать не хотелось, ведь я не знала, что со мной будет завтра.

Рассчитывать на снисхождение было наивно и нерационально. Но все-таки на рассвете я полетела к диску. Я надеялась выпросить разрешение побывать на планете Три только один день. Мне так хотелось еще раз прийти на пляж, услышать, как постукивает галька под ногами

Давида, как шелестят при порыве ветра страницы толстой книги, которую читает Нисо, увидеть, как набежавшая волна стекает обратно в море...

Скоро я уловила мысль Командира.

— Она еще молода, — говорил он Выпрямителю. — Она еще исправится и принесет пользу Великой/рациональной/мысли.

— Нет, нет, нет, — ответил Выпрямитель. И то же самое сказали оба Помощника/выпрямителя/по/внутреннему/распорядку.

— Нет, нет, нет, — пронеслось у меня в голове.

— Придется лишить ее Вечности, — сказал Выпрямитель. — Вы же, Командир, будете вынуждены подвергнуться Проверке/стабилизации. Я помню, что вы делили с ней Темноту/Тишину.

— Ни за что! Никакой проверки! — оглушила меня мысль Командира, и я поняла, что пока на диске идет эта битва, у меня еще есть шанс на спасение.

И я помчалась назад к Коктебелю.

За мной неслись три самых быстрых Уловителя, но они всего лишь выполняли приказ, который, возможно, им вовсе не хотелось исполнить. Я же — стремилась к спасению. Но все-таки они чуть не нагнали меня около нашего дома.

Я увидела сверху Давида. Этим ранним утром он уже сидел на камне неподалеку от нашей калитки, рядом с ним, свернувшись в клубочек, спала его собачка.

Я кинулась было к Давиду, но тут же сообразила, что в этом нет смысла. У меня уже не было ни секунды на размышления, и я, протиснувшись сквозь москитную сетку, которой было затянута наше окно, наполнила собою Нисо. Я разбежалась по всем клеточкам ее тела, разместились у нее в мозгу и в сердце. Я потеряла Вечную/Жизнь и лишилась защиты Великой/рациональной/истины.

Но — я осталась на Земле.

...С некоторых пор меня в самое разное время суток одолевают удивительные видения. Сначала это были фантастические пейзажи неизвестных мне миров, потом добавились странные происшествия с ощущениями, прежде совершенно неизвестными и необъяснимыми. Я рассказала об этом Давиду, а он, поглаживая свою собаку, невпопад спросил:

— А куда делась твоя соседка?

— Но я ведь тебе уже говорила, что от нее ничего, абсолютно ничего не осталось. Хоть бы попрощалась.

До сих пор в углу валяется ее почти пустая сумка. Даже ничего не заплатила тете Фросе.

— Нис, а тогда, на пляже, я увидел тебя, а не ее, — сказал Давид.

— Знаю, ты уже об этом говорил. И даже поплыл за ней, чтобы познакомиться со мной. И даже читал ей стихи, тоже чтобы познакомиться со мной. Мне продолжать?

— Но ты все равно мне веришь, — пробурчал Давид, стараясь поймать мой взгляд. А я не обернулась к нему. Это было полезно с позиций прикладной педагогики. И вдруг мне показалось, что я растворяюсь в воздухе и поднимаюсь над домами. Я даже увидела Землю сверху. Но это странное ощущение очень быстро прошло.

— И все-таки, — сказал Давид, — все-таки ты поймешь сегодня со мной в кино. Если скажешь, что устала, то я отнесу тебя туда на руках. Согласна?

— Знаешь, кто ты такой? Ты — Великий Выпрямитель и Служитель Рациональной Истины.

— Что, что? Повтори, я не понял...

— Да я пошутила, не обращай внимания, — и я засмеялась, а сама подумала, как нерационально было бы все это ему объяснять.

ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Мы жили в центре Москвы в прекрасном старом доме, построенном еще при царе Горохе. Наша семья — мой муж Виталик, наша дочка Катерина и я — занимали в квартире две небольших комнаты, а в третьей, большой, жила странная женщина средних лет с редким в наши дни именем Наина. Как-то раз я, посмеиваясь, спросила у соседки, откуда происходит ее имя, уж не от пушкинской ли Наины из «Руслана и Людмилы». И наша Наина вполне серьезно рассказала, что та Наина — это ее пра-пра-пра-и-так-далее-бабушка и что в их почтенном роду это имя дают каждой первой родившейся в семье девочке.

У нашей соседки были еще некоторые странности. Например, она всегда запирала дверь своей комнаты на ключ, тогда как мы вообще не запирали свою дверь, и она очень не любила, когда кто-то из нас к ней заходил. Еще. На ней всегда были серые платья и кофты одного фасона — с широченными от проймы рукавами, так что, когда она взмахивала руками, а она очень часто делала это движение, то становилась похожей на древ-

нюю, ископаемую птицу. Птеродактиля, что ли. Еще раз взмахнет — и взлетит.

Но, несмотря на ее странности, мы с ней жили очень мирно, я всегда старалась ее угостить, когда у меня было что-то вкусненькое, Виталик тоже всегда вызывался ей помочь, если что-нибудь там прибить-приколотить, а Катюха развлекала ее бесконечными сказками собственного сочинения.

Однажды, мирным воскресным вечером, Наина постучалась к нам, вошла, не дожидаясь ответа, и торжественно объявила, что выходит замуж за иностранца, за очень богатого человека и уезжает из страны, судя по всему — навсегда. Мы начали было хором поздравлять ее, но она, взмахнув рукавами, остановила нас. Потому что у нее в запасе была еще одна новость. Наина решила подарить нам свою комнату! В наши-то дни! Такой подарок! Даже не родственникам, просто добрым знакомым!

Наина ловко и быстро оформила документы на дарение, а мы все это время ждали какого-то объяснения, хотя бы при прощании. Но так же странно, как все, что делала Наина, она и рассталась с нами. Просто исчезла ночью и все. Наутро на кухонном столе лежал длинный голубой конверт. Это было письмо от Наины:

«ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

Ровно в 9 часов вечера встать в углу (поймете, в каком) на две самые широкие паркетины. Закрывать глаза. Думать только о хорошем. Ничего не бойтесь. Но не вздумайте там остаться! Н.»

Вечером мы, конечно, несколько раз перечитали письмо и решили, что оно такое же загадочное, как и все, что связано с Наиной, так что пока лучше его спрятать и подумать. Нам в этот день казалось, что важнее срочно заняться новой комнатой.

Мы решили, что если уж не делать в комнате большой ремонт, то стоит хотя бы просто наклеить новые обои. Получилось очень мило. Только в углу, что между окном и книжным шкафом, новые обои на следующий день с треском отклеились. Виталик заклеивал этот угол три раза, но обои тут же отлетали. Ну и ладно, решила я и переставила в угол торшер из соседнего угла. Только я вышла из комнаты, как торшер тут же упал. Тогда я купила в мебельном маленькую табуретку, поставила ее все в тот же угол и водрузила на нее огромный фикус, которому тесно было в Катюхиной комнате. И я не удивилась, когда фикус свалился с табуретки. Я почти сдалась, но решила дать последний бой и по-

весила в угол всего лишь бра с маленьким фонариком. Лампочка мгновенно перегорела.

Что-то такое неладное творилось с этим углом. Недаром Наина оставила его стены голыми. У меня не выходила из головы какая-то странность, касающаяся этих стен. И однажды, сидя без дела на работе, я наконец-то вспомнила про письмо Наины.

На улице была отвратительная, скользкая слякоть и промозглость, что обычно бывает при минус двух. Я влетела домой около девяти. Катюха уже спала, а мой муж Виталик, уставившись в телевизор, тихонько перебирал гитарные струны. Не повернул ко мне головы, ничего не спросил. Но в этот раз мне было все равно, потому что мой внутренний голос велел не обращать внимания на мелочи, встать ровно в 9 часов вечера на две самые широкие паркетины в том таинственном углу нашей новой комнаты и закрыть глаза. Я глянула на свои новенькие часики и послушно... закрыла глаза.

1

Был тихий летний вечер. Голубая трава чуть-чуть колыхалась, следуя дуновению ветра. От голубых валунов тянуло приятным теплом. На небе, светлом, поч-

ти белом, не было ни облачка. Вдали синели горы. Мне было легко и спокойно. По велению неизвестной мне силы я попала в то место, где с человека снимаются все заботы. Меня больше не мучали неприятные мысли о неприготовленном обеде, о вечно обиженном муже и о надоевшей работе.

Я огляделась вокруг и увидела странное существо, летевшее невысоко над землей. Это существо больше всего походило на древнюю птицу птеродактиля. Громадная голова разевала пасть с мелкими, острыми зубами. Медленно взмахивали перепончатые крылья, нарушая покой нежного воздуха сумерек. Существо это казалось то плоским, бесплотным, как персонаж театра теней, то почти прозрачным облаком серого и коричневого дыма.

— Эй! — крикнула я и с удивлением услышала свой веселый голос.

Видение повернулось ко мне.

— Ты нарисованное или живое? — снова крикнула я

— Жиивооо... ое... ое... — гулко ответило Существо, и голос его понесся над полями, а горы отвечали ему эхом.

Чудовище, сделав несколько взмахов своими огромными крыльями, неожиданно опустилось рядом со мной.

Я прикоснулась к туманному облаку, и рука моя провалилась в ледяную пустоту.

Медленно ворочая хвостом, Существо выпростало из-под складок серой кожи человеческие ноги.

— И сейчас не веришь, что я живое?

— Нет, все равно не верю.

— Ну, тогда смотри...

Серая кожа стала медленно спадать и в конце концов свалилась грудой пыльных складок на зазеленевшую траву. Передо мной стоял молодой светловолосый мужчина, затянутый в красное трико. Кисти его рук и стопы ног были почти голубыми. Мужчина подергал руками и ногами, как марионетка, послушная приказу кукольника. Его золотые кудри разбежались в стороны от лица, опали струйками на спину и плечи, полились на землю и потекли ручейками к далеким черным горам.

Широко открыв светлые, почти белые глаза с маленькой черной точкой зрачка, Существо в красном трико упорно смотрело будто бы на меня, но на самом деле вглубь меня и даже сквозь меня. Мне представилось, что он не видит меня, потому что я уже не существую. И мне вдруг стало страшно. Забыв, что было написано в письме Наины, я вскочила с камня, на котором сидела, и побежала. Чтобы победить свой испуг, я стала хулиганить. Я на бегу хватала с земли плоские белые камни, с блюдце величиной, и швыряла их в бегущее за

мной Существо в красном трико. Тарелочки со свистом огибали его и выстраивались за ним, образуя собой светящийся белый шлейф.

Неожиданно передо мной выросли черные горы, они заманили меня в длинный туннель с каменными стенами. Мой преследователь замер у входа в туннель, а я бежала и бежала и не могла остановиться. Я услышала, как мне вдогонку кто-то крикнул:

— Фея!

И я, не оборачиваясь, откликнулась:

— Фея-я! Я — фея!

Я мчалась, не переводя дыхания, и мне было легко, грустно, радостно, печально, весело.

Вдруг я почувствовала, что надо остановиться. И тут же мне сильно захотелось оказаться дома. Мгновенно все рядом со мной замерло, а я увидела, что стою на двух самых широких паркетинах в том самом загадочном углу нашей новой комнаты.

Муж мой Виталик все так же меланхолично наигрывал что-то на гитаре. Спросил:

— И где же тебя носило? Впрочем, можешь не отвечать. Не трудись выискивать оправдания, все равно не поверю.

— Виталь, не сердись. Мы отправимся туда все вместе, возьмем Катюху. Ох, если бы ты знал! Там нам будет хорошо. Там так красиво! А главное — беззаботно.

— Ну да. Тебе лишь бы ни о чем не заботиться, лишь бы носиться неизвестно где — вот твой идеал, а что у девчонки дыры на колготках, у меня ни одной чистой рубашки и второй день в ванной лежит замоченное белье, — на это тебе наплевать. Тебе главное, чтобы не было забот. Наградили же меня силы небесные такой женой! Ушел бы куда глаза глядят, да девочку жалко.

— Эх, — сказала я. — Никого тебе не жалко, просто у тебя глаза вообще никуда не глядят, вот ты и сидишь на одном месте.

Но потом я все-таки стала рассказывать, как там было прекрасно, ставя заглавные буквы в начале каждого слова. И объяснила ему, как надо ровно в девять, только ни минутой позже, встать на те самые паркетины и как надо представить себе... ну, что... Ну, не знаю... место... свет... захотеть, чтобы все было хорошо... и вот увидишь, так и будет...

2

Назавтра, вечером, накормив и уложив Катюху, я стал ждать девяти часов. Татьяны, разумеется, не

было дома. Она все говорит, что работы много. Но скажите мне, где это в наши дни задерживают на работе допоздна? Она все придумывает так ловко, что комар носу не подточит. Ни за что не поймашь, тем более у меня принцип: не звонить, не проверять. Какой смысл? Захочет обмануть — не подловишь. Кому ни позвони: «А Таня только что ушла». Это у них такая круговая порука, отовсюду она только что ушла.

Ну, ладно. Уложил я Катюху и решил, что все-таки ровно в девять встану в том углу. Будь что будет. А может, и правда, что-то необыкновенное. Вдруг попаду куда-то, где мне будет спокойно, где не надо волноваться за Катерину, что не ту кофту надела, что кашу не доела, что ушла неизвестно куда, неизвестно с кем... Тьфу, пропасть... Я опять о Татьяне...

Короче, без пяти девять стою я в углу, держу гитару в руке, взял на всякий случай, если скучно будет. Вдруг из спальни вылезает Катюха, одетая.

— Пап, ты куда? Ты чего меня бросаешь? Я с тобой, я все вчера слышала. Я тоже хочу туда, где все прекрасно, чтоб мама была всегда, а не когда я уже сплю.

Схватила Катюха мою руку, вложила мне в ладонь свою теплую лапку, и тут часы забили свои удары. Мы с Катюхой прижались друг к другу. Пробило девять.

Я оглянулся.

И ничего особенного.

Стою в магазине наподобие ГУМа, в отделе грампластинок. Все как обычно. Толкучка. Душно. Девчонки, что стоят за прилавками, только что не зевают, поскольку к ним почти никто не обращается. Все равно ведь у них нет ни «Кармины Бураны», ни «Страстей по Матфею». Хорошо хоть за бесценку добыл Нат Кинг Коула. А девчонки бездельничают, челки поправляют, с ноги на ногу переступают и еще выше поднимают мини, а вроде бы уж дальше некуда. Жарко. Лоб под челочкой вспотел, на верхней губе капельки пота собираются. Эээх, не было бы со мной Катюхи... Стоп! А где же она? Туда-сюда, нет нигде. Да гори они, эти продавщицы. Я дочку потерял! Выбежал на улицу... Нигде не видно Катюхи. Эх, ты, бабник мерзкий, засмотрелся на девок, а Катюха где-то здесь одна бродит. Да, кстати, а что оно такое — это «здесь»?

Завернул за угол. Вижу, бежит дорожка, вроде как рельса. Вскочил на эту рельсу, бежит дорожка вдоль стены, а стена вся в проводах, медных, оголенных, толщиной в мою руку, коснешься — верная смерть, искрят, гудят. Мчусь я рядом с этими проводами, стараюсь не покачнуться, гитару где-то посеял, единственную пла-

стиночку заснул за ремень, не потерять бы, все какой-то прибыток от путешествия, пятью-шествия, путь-и-шест-вия. Я все мчусь вместе с дорожкой. Только бы не упасть, почва около рельсов серая, зернистая, будто увеличенный в сто раз кусок наждачной бумаги, упадешь — соскребет шкуру до костей.

Неожиданно все остановилось, и меня выкинуло на песок, на берег моря. Поднялся, пошевелил конечностями, вроде все в порядке, голова на месте, и даже пластиночка цела.

Пляж, песочек, вдали какие-то людишки. Посидел я в тенечке под скалой, разморило меня, думать ни о чем неохота, и все мои заботы куда-то ухилили. Выкупаться, что ли, да плавок нет с собой. Гляжу, у ног, на песке лежат фирменные синие плавочки, новенькие, даже с ярлычком. Сделано в Японии. Годится.

Поплавал, и стало мне очень хорошо. Вода теплая, солнышко греет, волны большие, вот я на них у берега и покачаюсь. Давно у меня не было такой хорошей жизни. Может, и Татьяна здесь где-нибудь отыщется...

Лег на спину. Волны меня друг на дружку перекидывают, переваливают. Одна, что побольше, накрыла меня полностью, но это даже приятно, я люблю в море нырять. Вода прозрачная, голубенькая. А если нырнуть

и потом всплывать плашмя, животом кверху, то видно свое отражение в самом верхнем слое воды.

А волны все больше и больше, но я их не боюсь, захочу и выплыву. Но они все выше и выше, и уже идут валы высотой с автобус, но меня все поднимает на гребне и нежно опускает вниз. И вот пошли волны высотой с двухэтажный дом, и народу на пляже не стало. Пожалуй, пора выбираться. А они меня не отпускают, все покачивают, покачивают.

Оглянулся я назад и увидел, что море уже не море, а одна громадная, плотная стена серо-зеленой воды, которая движется на меня, и от нее никуда не спрятаться. Закрыть глаза и прощаться с жизнью. Но неожиданно стена воды обрушилась, и тут же меня закрутило, замотало, камни, поднятые водой со дна, стучат по спине, нечем дышать. И вдруг — все кончилось. Волна швырнула меня на дно, сама помчалась к берегу. А что же мне делать, когда она двинется обратно? Как что? Немедленно нырять под нее и быстро-быстро работать ногами-руками. Не то уж точно конец, самый распоследний конец.

Стою на дне, будто заколдованный, и жду, что будет делать Волна, а она так и остановилась у берега и не думает откатываться назад. Взлетела, втянула в себя море

и застыла, и закрыла собой весь мир. И вот высится огромная стеклянная гора надо мною, а я стою маленький, уж такой маленький, муравей перед небоскребом. Силы небесные! — думаю я. — Силы небесные! Только не упала бы она на меня, только не рухнула бы, ни о чем больше не прошу, только не рухнула бы...

И стою я, крошечный, одинокий муравей на сухом морском дне, и горячее солнце сжигает меня.

3

Я очень удивилась, когда, не выходя из нашей квартиры, вдруг оказалась в метро. Папы рядом не было, правда, я слышала, что он крикнул: «Катюха!» Поезд мчался с бешеной скоростью. На стенах тоннеля мелькали огни. Вагон покачивало из стороны в сторону. Я сидела на своем любимом месте — в углу вагона, на одиночном кресле, голые ноги прилипали к сиденью. Впервые в жизни я еду метро одна! Ура!

Народу в вагоне было немного, всего несколько человек. У дверей рядом со мной стоял лысый, носатый дяденька. Наискосок от меня на длинном диване сидели трое молодых парней, по-моему, пьяных, напротив — тетка в строгом костюме, с большой куклой на коленях.

Пьяных ребят качало сильнее, чем качало вагон. Один из них, чернявый, все пытался встать с дивана, а двое других, рыжий и какой-то незаметный, хватили его за руки и усаживали на место. Странно, что они все-таки попадали обратно на диван, а не оказывались на полу.

Кукла тетеньки в строгом костюме была очень большой, даже казалась настоящей девочкой. Тетенька так крепко прижимала игрушечную девочку к себе, что я прямо чувствовала, как девочке неудобно и как голые ноги куклы царапают шерстяная юбка теткиного строгого костюма.

Поезд мчался без остановок, вагон качало все сильнее. Тетка заснула, а кукла стала казаться совсем живой. От того, что тетка теперь не так сильно прижимала куклу к себе, кукла стала болтать ножками и ручками. Волосы игрушечной девочки раздувал ветер, залетающий в открытые окна вагона. Веки ее то открывались, и тогда кукла смотрела прямо на меня синими-синими глазами (синее, чем у мамы), то закрывались, и тогда ее пушистые ресницы ложились на толстые щеки.

А лысый носатый мужчина так и не сел, так и стоял у дверей, поглядывая на всех по очереди. И у него каждый раз получались разные лица. Когда он глядел на тройцу ребят — он удивлялся, и брови у него поднима-

лись ко лбу домиком, когда на тетку с куклой — пугался и выпучивал от страха глаза, когда на меня — улыбался и махал рукой так, будто хотел сказать: «Спокойно, спокойно». И чего он меня успокаивал? Я вовсе не волновалась, мне только надоело ехать в этом поезде и захотелось, чтобы поезд наконец остановился.

И тут же поезд вылетел из тоннеля, вздрогнул и встал. Двери открылись. Я прыгнула вниз и упала в мягкую-мягкую, зеленую-зеленую, нежную, прохладную траву. Больше никто из вагона не вышел, а поезд сразу же, как только я встала на ноги, свистнул, взлетел и помчался, извиваясь змеей, высоко и далеко. Ну и правильно. Что же было ему тут делать, раз на этом месте закончились рельсы?

Я пошла по траве туда, где вдалеке в полях двигались какие-то точки. Я подумала: может быть, эти точки на самом деле люди, а может, это какие-то знакомые люди и даже, может, среди них случайно найдутся папа и мама. В этом странном месте, наверное, может случиться все что угодно.

И вдруг я увидела речку, не очень широкую и, кажется, неглубокую. У берега покачивалась лодка, точно такая, какая была на пруду на даче. Мне не разрешали кататься на той лодке одной, а всегда так хотелось...

Здесь не было никого, кто стал бы волноваться за мою жизнь, а как грести — я знаю, потому что хорошо изучила, как это делал папа, когда он брал меня с собой. И я вошла в лодку, вложила одно весло в уключину, отвязала веревку от столбика и сильно-сильно оттолкнулась другим веслом от берега. Вот всегда так: никто не верил, что я могу хорошо сама грести. А если бы они сейчас могли посмотреть, как у меня все прекрасно получилось! Скажу честно: весла оказались довольно тяжелыми, но я старалась изо всех сил и даже не думала сдаваться.

Мне стало очень хорошо. Был конец нежаркого летнего дня, когда небо прикрыто прозрачными облаками, а солнца не видно, и оно чувствуется только по теплу. Течение медленно само несло меня мимо близких зеленых берегов, мне почти не надо было грести. Речка то затягивалась ряской, то показывала свою глубину. Я уже долго плыла, разглядывала берега, наклоняла голову, когда надо мной свисала бахрома веток ивы, иногда бросала весла, опускала в воду ладони и следила, как вода пробегает между моими растопыренными пальцами. Мне в руку попала большая белая кувшинка. Я подняла ее из воды, потряхнула разок — кувшинка звякнула, потряхнула еще раз — она еще звякнула. Тут с лугов послышались звоны разных колокольчиков, и лодка, будто

услышав эти звуки, сама повернула к берегу и ткнулась носом в песчаный обрывчик. Я выбралась на берег.

На берегу в голубой траве лежали и бродили большие серые коровы. У них на шеях болтались колокольчики, как, наверное, и должно быть в обычном стаде, но музыка, которую играли эти колокольчики, получалась какая-то волшебная, даже больше волшебная, чем музыка в детской радиопередаче «Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь». И не было ничего странного в том, что у них получается такая музыка, потому что и сами коровы были какие-то волшебные. На лбу у каждой коровы светился драгоценный камешек. У одной — зеленый, у другой — лиловый, у третьей, четвертой, десятой — синий, золотой, малиновый. Камешки сверкали, лучились, пригасали, снова загорались и вспыхивали разноцветными огоньками.

Посреди этого удивительного стада расхаживал довольно старый человек. Он был совсем седой, его белые волосы, поднявшись надо лбом, спадали над висками и на затылке легкими прядями. Он был очень загорелым. Понятно, он ведь жил на свежем воздухе. У него были очень добрые и очень голубые глаза. У него был большой рот, который все время улыбался. У него было много морщин. Я вдруг подумала, что этот человек чем-то

напоминает мне моего папу. А может быть такое, что это мой папа в старости? «Эх, Катерина, и что такое ты выдумываешь!» — строго сказала я себе.

Седой Человек очень мне понравился, и я тоже понравилась ему. Это было видно по его глазам. Он рукой поманил меня к себе. Я пошла к нему мимо коров и даже совсем не боялась, что кто-то из них наставит на меня рога. Когда я подошла к Седому, то мне показалось, что у него на лбу, уже почти под волосами, светятся два сверкающих камешка. Не знаю, я не совсем хорошо это разглядела, может, и ошиблась. Но мне уже было ясно, что в этом месте нужно быть готовой ко всему.

Мы с Седым Человеком пошли по густой голубой траве, которая расступалась перед нашими ногами и вставала за нами высокой голубой стеной, и шли мы так долго, что я выросла и стала почти совсем взрослой. Меня это очень обрадовало, потому что мне очень этого хотелось. Так надоело, что ничего нельзя, только и слышишь: «Тебе этого не понять, вот вырастешь...» Наконец Седой Человек остановился у огромного, почти как озеро, бассейна с такой темной синей водой, что она казалась черной. Седой щелкнул пальцами (точно так, как делает это мой папа), и сначала в бассейне засуетилась стайка мелких рыбешек, а потом на поверхность

выплыла большущая белая рыбина, которая, разевая пухлый рот, спросила человеческим голосом:

— Чего изволите?

Седой снова щелкнул пальцами, и рыбина ответила:

— Сей момент.

И правда, в тот же момент на сине-черной воде закачалась прекрасная лодочка, синяя с желтым верхом и с двумя легкими веслами, по одному у каждого сиденья. Я села впереди, Седой — сзади. Он сказал: «И-и раз», весла толкнули лодку с правой стороны, сказал: «И-и два», и в воду опустились весла уже с левой стороны. «И-и раз», «И-и два», «И-и раз», «И-и два», — синяя лодочка с желтым верхом побежала по сине-черной воде. Лодочка наша была очень маленькой и очень низко сидела в воде. Но мне ни капельки не было страшно. Мы гребли то быстрее, то медленнее, мимо нас проходили громадные белые пароходы, носились на бешеной скорости катера, и почти в каждом из них сидели мужчина с мужественным профилем и молоденькая девушка с длинными развевающимися волосами. Я представила себя такой же девушкой, только сначала надо было бы вырастить такие же красивые волосы.

Над водой плыл туман, иногда сыпал мелкий дождик, а иногда светило ласковое солнце. На голубых

берегах гуляли люди, дымили костры и мылись разноцветные машины, чего, как я знала, делать было нельзя. Почти у самой воды играли в волейбол два парня из моего вагона метро — чернявый и рыжий, третий, незаметный, видно, где-то потерялся. Парни были очень симпатичные и совсем не пьяные. Тут же сидела, болтая босыми ногами в воде, тетка с куклой; она и кукла пели в два голоса песню, которую любили петь мои родители, — «На речке, на речке, на том бережеечке...»

Солнце уходило за горизонт. И хоть мне было очень хорошо, все равно почему-то стало немножко грустно, захотелось снова стать маленькой и посидеть рядом с мамой на нашем старом лиловом диване.

Я обернулась к Седому, а Седого уж и нет, нет ни реки, ни голубых берегов, а есть наша комната, и я стою в том самом углу на двух широких паркетинах и вижу лиловый диван, а на нем грустную маму.

Я подошла к маме, залезла к ней под руку, и так мы долго сидели, молчали, вспоминали каждый свои чудеса и ждали папу, который все не шел. И неизвестно вообще, придет ли он когда-нибудь, потому что в тех волшебных странах сбывалось то, чего очень хотелось, а мы не знали, чего там сильно захотел наш Виталик.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. От трех до одиннадцати	7
Начало автобиографии	9
Родные и близкие	77
Часть вторая. Были - небыли	111
Нужно, чтобы в доме всегда было молоко	113
Волшебные звуки	118
Алла + Толя =	126
А он циркачку полюбил	138
Букет	157
Побег	166
Вам это будет интересно	184

Кира Селезнева

БЫЛИ - НЕБЫЛИ

Эссе, рассказы

Художник *К. А. Сошинская*

Редактор *М. Ю. Манаков*

Компьютерный набор и верстка: *М. Ю. Манаков*

Корректор *К. В. Ратников*

Подписано в печать 18.10.2016.

Формат 70×100 ¹/₃₂.

Гарнитура «Таймс». Бумага ВХИ.

Уч.-изд. л. 5,28. Усл. печ. л. 8,28.

Тираж 100 экз. Заказ № 183.

ООО «Издательство “ИзЛиТ”».

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 9, оф. 7.

Отпечатано в типографии издательства

«ПринТерра-Дизайн».

400005, г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, д. 88.

Тел.: 23-87-01, 23-82-60, 23-32-81.

mail@printerra.com

